



ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Рождественские сказки
Диккенса

Видения и фантазии
дядюшки Скруджа

КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Подарочные издания. Иллюстрированная классика

Чарльз Диккенс

**Рождественские
видения и традиции**

«Алисторус»

1843–1855

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

Диккенс Ч.

Рождественские видения и традиции / Ч. Диккенс —
«Алисторус», 1843–1855 — (Подарочные издания.
Иллюстрированная классика)

ISBN 978-5-907211-98-8

Добрый гений Рождества – божество английских семейств. Диккенс в своих рождественских сказках возродил традиции этого замечательного праздника. Диккенс – один из немногих западных писателей, кто сумел воплотить в своем творчестве мир христианских ценностей, мир, живущий согласно евангельским заповедям, где добро и зло измеряются не общественными законами, а верой Христовой. Писатель создал «философию Рождества», и ему поверили сначала его соотечественники, а немного позже и весь мир. Поэтический мир Диккенса позволяет видеть не то, что есть, а то, что должно быть под чудотворным воздействием фантазии.

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-907211-98-8

© Диккенс Ч., 1843–1855

© Алисторус, 1843–1855

Содержание

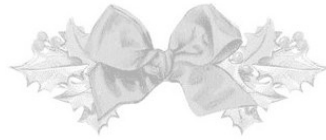
Чарльз Диккенс	6
Часть первая	24
Рождественская песнь в прозе	24
I	24
II	41
III	53
IV	69
V	80
Колокола	87
I	87
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Чарльз Диккенс

Рождественские видения и традиции

© Вострышев М.И., состав, комментарий, 2019

© ООО «Издательство Алгоритм», 2019



Чарльз Диккенс

Жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк Михаила Вострышева

Чарльз Диккенс родился 7 февраля 1812 года на берегу пролива Ла-Манш – в предместье портового города Портсмут, где его отец служил мелким чиновником Адмиралтейства. Отец Джон Диккенс был сыном лакея и горничной, мать Элизабет – из семьи мелких чиновников.

Мальчику Чарльзу было всего два года, когда его семья переселилась сначала в Лондон, а в 1817 году – в Чатем. В Чатеме Диккенсы прожили шесть лет, и это было время счастливого детства Чарльза. От природы слабый хилый ребенок, часто страдавший нервными припадками, он не любил шумных детских игр и редко принимал в них участие. Но, может быть, именно благодаря этой физической слабости полнее развивалась его врожденная наблюдательность, его творческая фантазия. Он целыми часами сидел на одном месте и следил внимательными глазами за играми товарищей, за военными упражнениями солдат, за всеми проходившими и проезжавшими мимо дома. Выучившись очень рано грамоте, он пристрастился к книгам и стал с жадностью читать и перечитывать небольшую библиотеку своего отца.

Вся окружающая местность: кладбище, соседняя церковь, трактир – все это связывалось в его воображении с приключениями того или другого героя. Пока прочие дети бегали и резвились, Чарльз жил своей собственной внутренней жизнью и находил в этой жизни нескончаемый источник наслаждений. Мечтательность не делала его, однако, угрюмым и нелюдимым. Он всегда был рад, когда старшая сестра или товарищи просили его рассказать им что-нибудь и с увлечением передавал прочитанные истории, часто прибавляя к ним мир своей фантазии.

Диккенсу было лет пять-шесть, когда один молодой родственник сводил его в театр, и он до конца жизни не мог забыть, какое сильное впечатление произвели на него в то время «Ричард III» и «Макбет». Под влиянием театра маленький Чарльз и сам написал трагедию «Мисмар – индейский султан».

Чарльзу исполнилось девять лет, когда его отцу пришлось оставить Чатем и снова перебраться с семьей в Лондон. С этим переселением кончилось для мальчика время беззаботного детства, началась жизнь, полная невзгод и лишений. Отец его был человек добрый, нежно любивший семью и старавшийся добросовестно исполнять всякое дело, за какое брался. Но в то же время Джон Диккенс оставался легкомысленным человеком, нерасчетливым в денежных делах, привыкшим жить на широкую ногу и не отказывать себе в разных прихотях. При переезде в Лондон у него было шестеро детей; жалованья, получаемого им, могло хватить на содержание такой большой семьи только при крайней бережливости и расчетливости. А к этому мистер Диккенс был совершенно не способен. Он еще раньше прожил небольшой капитал, оставленный ему отцом, и приданое жены, теперь ему пришлось прибегнуть к займам. Чтобы уплатить одному кредитору, он занимал у другого под большие проценты и запутывался все больше и больше. Семья поселилась в маленькой квартирке одного из бедных предместий Лондона. Тут не было ни сада, ни площадки, на которой дети могли бы свободно играть с товарищами. Запертые в тесных комнатах, они поневоле были свидетелями всего, что делали и говорили родители. Слова «вексель», «отсрочка», «сделка» наполняли ужасом сердце маленького Чарльза, принимали в его воображении вид каких-то фантастических чудовищ. О воспитании его никто не заботился. Родителям было не до того. В Чатеме он посещал небольшую частную школу и считался одним из лучших учеников. А Лондоне его старшую сестру Фанни отдали в музыкальную академию, а он оставался дома без всякого призора, чистил сапоги, исполнял мелкие домашние работы, присматривал за младшими детьми.

Чтобы помочь мужу, миссис Диккенс решила открыть учебное заведение с пансионом для детей. Наняли целый дом, на дверях прибили большую вывеску. Чарльз разносил в разные дома объявления, в которых красноречиво перечислялись достоинства нового учебного заведения. Но никто не выразил желания поручить своего ребенка попечению миссис Диккенс, да и в самом «учебном заведении» не делалось никаких серьезных приготовлений к приему учеников.

Между тем кредиторы становились все назойливее: булочники, мясники грубо требовали уплаты по счетам, и дело кончилось тем, что мистер Диккенс был признан несостоятельным должником, арестован и посажен в тюрьму.

Попав в тюрьму, мистер Диккенс, естественно, лишился всякого кредита, и единственным средством жизни семьи осталась небольшая пенсия, которую он получал, потеряв место на службе. Так как этой пенсии не хватало на удовлетворение первых потребностей, то приходилось продавать и закладывать разные домашние вещи. Все сделки со старьевщиками и закладчиками мать по большей части поручала Чарльзу. Слабенький робкий ребенок должен был ходить по грязным лавчонкам, выпрашивать несколько лишних пенсов у грубых хитрых торгашей, которых он впоследствии так живо изобразил в своих романах. Никто не подозревал, какой горечью наполняло это его детское сердце. Но те уроки, которые дала ему суровая действительность, окажутся плодотворнее, чем всякое школьное обучение. Основной чертой произведений Диккенса является его сочувственное отношение к униженным, обездоленным, страдающим бедным людям. Это не снисходительное сострадание гуманного мыслителя, это горячее сочувствие любящего человека, и кто знает, зародилось ли бы в душе его это сочувствие, если бы ему не пришлось быть свидетелем бесчисленных сцен незаслуженного унижения, безропотного горя, безысходной нищеты в тех грязных переулках Лондона, где он начал жить сознательной жизнью; если бы сам он не испытал отчасти и этих унижений, и этого горя, и этой нищеты.

Вскоре Чарльзу пришлось перенести еще более тяжелые испытания. Тот самый родственник, который возбудил в нем страсть к театру, стал пайщиком в одном промышленном предприятии по выделке и продаже ваксы. Он предложил взять в работники Чарльза с платой по шесть шиллингов в неделю.

Дом, в котором помещался склад ваксы, был грязным ветхим зданием, переполненным крысами, которые возились на чердаке и с шумом бегали по лестницам. Чарльз должен был работать в сыром подвальном этаже вместе с двумя другими мальчиками и несколькими взрослыми рабочими. Обязанность его состояла в том, чтобы наворачивать бумажки на банки с ваксой и наклеивать на них ярлыки. Дело это было нетрудное, но очень скучное из-за своего однообразия. На Диккенса и оно, и та грязная обстановка, то общество грубых необразованных товарищей, в котором ему приходилось проводить время, действовали угнетающим образом.

Денежные дела не поправлялись, и госпоже Диккенс с младшими детьми пришлось перебраться к мужу в тюрьму. Чарльза поместили на квартиру к одной бедной женщине, державшей пансионеров. Питаться мальчик должен был всю неделю сам на свой заработок, а воскресенье он проводил в тюрьме с семьей.

В душе ребенка таились силы, неосознаваемые им самим, силы, которые поддерживали его в нравственном отношении. Он страдал, никому не показывая, что происходило в его сердце, и в то же время работал самым усердным добросовестным образом, чтобы не подвергнуться унижению выговоров или насмешек. Этот полуголодный, робкий, нищенски одетый ребенок так отличался своим обращением и манерой говорить от остальных рабочих, сидевших в одной с ним комнате, что все они, по какому-то молчаливому соглашению, называли его обыкновенно «маленький джентльмен».

Особенно огорчало Диккенса то, что он был разлучен с родителями, семьей, что после целого дня работы он не видел родного приветливого лица. Однажды в воскресенье, проща-

ясь с отцом на целую неделю, мальчик не выдержал и голосом, прерывающимся от рыданий, высказал все, что накопилось у него на душе. Мистер Диккенс был поражен. По легкомыслию своему он и не подозревал, как плохо живет мальчику. Он немедленно принял меры, чтобы облегчить его положение. Решено было, что Чарльз будет каждый день завтракать и ужинать с семьей, а для ночлега ему наняли крошечную мансарду в одной добродушной семье.

Диккенсу было в то время лет одиннадцать-двенадцать, но он оставался таким маленьким и хилым на вид, что казался гораздо моложе. Когда он заходил в пивные и важно спрашивал кружку эля, продавцы с состраданием поглядывали на него и наливали ему самого слабого пива, а когда по случаю какого-то торжества он вздумал отобедать в большом ресторане, все лакеи собрались смотреть на крошечного джентльмена. Болезненные припадки, мучившие его в раннем детстве, продолжали повторяться время от времени. Диккенс помнил, как за ним ухаживали рабочие, когда он заболел на складе ваксы, и как перепугались его хозяева, когда у него однажды ночью случился припадок страшной нервной боли в боку.

Несмотря на неблагоприятную обстановку, наблюдательность и фантазия его не погибали. Мать рассказывала ему истории из жизни разных обитателей долговой тюрьмы, а он своим воображением дополнял и разукрашивал эти рассказы. Часто по утрам ему приходилось ждать около тюрьмы, пока отворят ворота; с ним вместе ждала молоденькая поденщица, приходившая помогать его матери в домашних работах, и он все время занимал ее разными фантастическими рассказами собственного сочинения. У него не было времени на чтение, не было денег на покупку книг, но во время работ на складе ваксы он часто вспоминал романы, прочитанные им в более счастливые годы, и рассказывал их рабочим.

Такая тяжелая жизнь мальчика продолжалась года три, как вдруг отец его неожиданно получил небольшое наследство от своей умершей матери. Это дало ему возможность расплатиться с долгами и выйти из тюрьмы. Ему показалось унижительным, что сын его работает как простой рабочий, он взял Чарльза из мастерской и поместил его в школу. Родные старались никогда не упоминать об этих годах, считавшихся позорными для семьи, и сам романист даже много лет спустя не рассказывал о них даже своим ближайшим друзьям.

Два года провел Диккенс в школе мистера Джонса. Преподавание здесь велось рутинным способом, дисциплина поддерживалась посредством телесных наказаний. Но пребывание в школе имело для мальчика хорошую сторону потому, что вернуло его в общество сверстников, уничтожило мучившее его чувство приниженности и возбудило в нем сознание собственных умственных сил. С изменившимися обстоятельствами поправилось и его здоровье. Товарищи по школе вспоминают о нем как о веселом, даже шаловливом мальчике, охотно участвовавшем во всех школьных проделках. Благодаря хорошим способностям и прилежанию он не отставал в ученье от своих сверстников, и никто из них не подозревал, как шла его жизнь в предшествующие годы.

Наследство, полученное отцом Диккенса, было скоро прожито. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, он занял место репортера в одной небольшой газетке. Пятнадцатилетнему Чарльзу пришлось оставить школу и снова начать зарабатывать свой хлеб. Его определили младшим клерком (писцом) к стряпчему на жалованье тринадцать с половиной шиллингов в неделю. Опять приходилось ему проводить целые дни за неприятной работой, в обществе конторщиков, юмористические фигуры которых населили впоследствии его произведения. Снова рушились его надежды стать человеком образованным и сколько-нибудь подняться по общественной лестнице, опять видел он в перспективе долгие годы скучной работы, скудного заработка, серой однообразной жизни. Но на этот раз будущий романист не покорился своей участи с безропотностью ребенка. Он решил собственными усилиями выбиться из тяжелых обстоятельств, завоевать более счастливое положение. Чтобы восполнить пробелы своего образования, он стал аккуратно каждый день проводить несколько часов за чтением в библиотеке Британского музея, а для увеличения своих материальных средств задумал сде-

латься, по примеру отца, репортером и выучиться стенографии. Все немногие минуты, свободные от других занятий, отдавал он учебнику стенографии и достиг того, что года через два-три сделался одним из лучших стенографов Лондона. Долго не удавалось ему получить места в галерее парламента в качестве репортера какой-нибудь политической газеты. Он должен был ограничиваться составлением судебных отчетов. Работа эта была непостоянная, оплачивалась скудно, и Диккенс задумал попробовать свои силы на другом поприще. Он стал готовиться к сцене, ходил в театры, когда там играли хорошие актеры, а дома, запершись у себя в комнате, упражнялся по несколько часов подряд в чтении ролей и в разных мимических движениях. Между тем маленькая газетка «True Sun» предложила ему место стенографа, и таким образом он получил доступ в галерею парламента, а несколько месяцев спустя был зачислен в число репортеров большой ежедневной газеты «Morning Chronicle». Эта новая должность отнимала столько времени и оплачивалась так хорошо, что Диккенс отказался от мечты стать профессиональным актером.

Бесконечная вереница комических и трагических лиц проходила перед его глазами в залах парламента, в палате суда, на шумных избирательных митингах, на торжественных заседаниях разных обществ, в тряских почтовых каретах, в захолустных гостиницах и трактирах. И какое множество этих лиц удалось ему увековечить в своих романах!



Чарльз Диккенс в юности

Одновременно с репортерством началась и литературная деятельность Диккенса. В 1833 году в декабрьской книжке «Old Monthly Magazine» появилось его первое печатное произведение – рассказ «Обед в аллее тополей». Вслед за первым рассказом в том же журнале появилось еще девять, подписанных именем Боз, в честь младшего любимого брата Чарльза, которого домашние называли этим прозвищем.

В 1835 году редакция «Morning Chronicle» решила издавать вечернее приложение к газете, и редактор этого приложения Гогард попросил Диккенса дать ему небольшой рассказ для первого номера. Диккенс с удовольствием согласился и в то же время робко спросил, не пожелают ли издатели газеты принять от него целый ряд мелких очерков под одним общим заглавием, и не сочтут ли они возможным платить ему сколько-нибудь за эти очерки, кроме его репортерского жалованья. Издатели ответили утвердительно на оба вопроса и увеличили его жалованье с пяти до семи гиней в неделю.

В 1836 году Диккенс собрал все свои мелкие рассказы в два тома и продал их за полторы тысячи рублей одному молодому издателю, который выпустил их в свет под заглавием «Очерки Боза. Изображение будничной жизни и будничных людей». Маленькие книжки, снабженные привлекательными иллюстрациями, сразу приобрели симпатии публики и доставили известность молодому автору. В этих первых опытах пера Диккенса уже проглядывают все те достоинства, какими мы восхищаемся в его романах, здесь попадаются сцены неподражаемого юмора, трогательные описания, черты тонкой наблюдательности. Лондон является перед нами с его страданиями и радостями, с его грязью, нищетой, туманами и предрассудками.

В начале 1836 года Диккенс женился на мисс Катерине Гогард, старшей дочери редактора той самой «Вечерней хроники», в которой помещались его «Очерки». Он уже приобрел славу как писатель и мог вполне посвятить себя литературе, не заботясь о постороннем заработке.

Первое крупное произведение Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» сразу принесло ему и славу, и материальное обеспечение. Первый выпуск этого романа разошелся в количестве четырех тысяч экземпляров, пятнадцатый – в количестве сорока с лишним тысяч. Добродушие старой Англии и благородный чудак мистер Пиквик вызвали огромный читательский интерес. В магазинах выставлены были шляпы, трости, сигары и костюмы а la Пиквик, знакомые, встречаясь на улице, обсуждали приключения действующих лиц романа, точно происшествия из жизни близких знакомых.

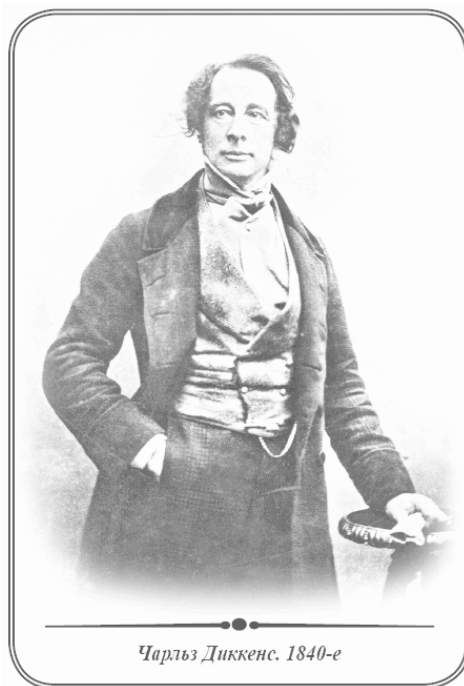
Период тяжелой борьбы за существование безвозвратно прошел для Диккенса. Перед ним открылась широкая дорога славы и материального достатка. Испытания, пережитые в ранней юности, закалили его характер, развили в нем твердую волю, страстную решимость не поддаваться обстоятельствам, а самому господствовать над ними. Пример отца, страдавшего и заставлявшего других страдать из-за легкомыслия и беспорядочности, послужил ему уроком на всю жизнь, и сам он всегда был образцом аккуратности, точности и порядка. Все, кто знал его в то время, отзывались о нем как о человеке в высшей степени привлекательном, обаятельно действовавшем на окружающих. Здоровье его окрепло, он вовсе не походил уже на хилого ребенка, изнывавшего на складе ваксы. Теперь это был молодой человек невысокого роста, но очень правильно сложенный, с легкой поступью, свободными манерами и раскованными движениями. Целая шапка роскошных каштановых кудрей покрывала его голову, ясные голубые глаза его светились веселым юмором, большой рот с полными губами добродушно улыбался. Все лицо его было необыкновенно выразительно, подвижно, фигура говорила о деятельной энергичной натуре.

Диккенс всегда был неутомимым работником, способным отдавать всего себя делу, за которое брался. Неожиданный успех «Посмертных записок Пиквикского клуба» показал ему его собственные силы, его призвание, и он с жадностью набросился на литературную деятельность. В течение четырех лет он написал пять больших романов и, кроме того, несколько мелких произведений. Со своей стороны, издатели сразу поняли, как много выгоды может принести им молодой писатель, так быстро завоевавший себе громадную популярность, и всеми силами подстрекали его писать как можно больше.

Вместе с успехами на литературном поприще возрастало и материальное благосостояние Диккенса. Помощником и поверенным при всех его сделках с издателями и книгопродавцами являлся Джон Форстер – честный, правдивый, практичный человек, с которым Диккенс познакомился в 1836 году, и с которым его скоро связала самая тесная дружба, окончившаяся только со смертью романиста. Старший по возрасту, гораздо более благоразумный и осторожный в житейских делах, Форстер был бесценным советником для писателя, легко поддававшегося увлечениям и склонного всякое свое намерение быстро приводить в исполнение.

В начале 1837 года Диккенс перебрался в просторную лондонскую квартиру на Даути-стрит. Здесь писатель установил себе распорядок дня, которому с тех пор следовал с неизменным постоянством. Работал он обыкновенно утром между первым и вторым завтраком; иногда

только, когда накапливалась спешная работа, у него случались, как он выражался, «двойные приливы», и он сидел за письменным столом до поздней ночи. Вообще же он, как Гете, находил, что в утренние часы мысль свежее и мозг действует более правильно. Отдыхом от занятий служили ему длинные прогулки пешком и верхом. Пройти за раз двадцать миль для него ничего не стоило. Не было в Лондоне улицы или переулка, которые бы он не исходил десятки раз взад и вперед во все часы дня, во всякую погоду. Особенно любил он гулять в сумерках. Темнота, окутывавшая город, имела для него своеобразное обаяние.



Чарльз Диккенс. 1840-е

«Приключения Оливера Твиста» (1838 год) был первым настоящим романом Диккенса, романом с завязкой и развязкой. За ним последовало множество других.

Романы Диккенса продавались в таком громадном количестве экземпляров, что, несмотря на значительные барыши издателей, давали и автору возможность устроить с полным комфортом свою жизнь и жизнь своих близких. Он нанял хорошенький коттедж недалеко от Лондона в живописной сельской местности, снабдил его всем необходимым и поселил в нем своих родителей. Сам же романист с семьей занял красивый дом с большим садом на Девонширской террасе против Реджент-парка. На лето он обыкновенно выезжал с семьей на берег моря или куда-нибудь в деревню.

В это время вокруг него составил дружеский кружок из литераторов, адвокатов, ученых, художников, актеров и музыкантов. Ни зависть, ни чувство соперничества не омрачали его отношения к лучшим романистам того времени: Эдуард Булвер и Уильям Теккерей были в числе его друзей, он искренне восхищался первыми романами Джорджа Элиота, с Уилки Коллинзом его соединяла самая тесная приязнь.

В обществе Диккенс был человеком в высшей степени приятным, он умел придавать привлекательность самому пустому разговору. Вычитанный им анекдот, случайно подслушанный разговор, сценка, подмеченная на улице, – все в его пересказе являлось остроумным, смешным, привлекательным. Он способен был предаваться веселым забавам с таким же увлечением, с каким предавался серьезной работе. Летом на даче у него постоянно гостили родные и молодые друзья; они устраивали разные атлетические упражнения, игры в мяч и шары, стрельбу

в цель, метание диска и тому подобное. Диккенс увлекался этими упражнениями и гордился победами в них не меньше, чем своими литературными успехами.

Летом 1841 года Диккенс совершил вместе с женой путешествие по Шотландии. Издатель «Эдинбургского обозрения», мистер Джефри, пригласил его посетить Эдинбург от имени своих сограждан, желавших публично выразить уважение его великому таланту. Прием, оказанный ему шотландцами, может быть назван поистине триумфальным. Комнаты, занятые им в отеле, буквально осаждались посетителями, жаждавшими счастья быть представленными знаменитому романисту. Город Эдинбург преподнес ему диплом на право гражданства, в его честь был дан большой обед, на котором присутствовало более трехсот человек. «Странно было видеть мои темные кудри среди стольких седых голов, – пишет Диккенс, – и многие из присутствовавших заметили эту странность». Приглашения на обеды, на вечера, в ложи театра сыпались на него со всех сторон, и ему почти тайком пришлось уехать от своих гостеприимных поклонников, чтобы совершить небольшое путешествие по Шотландии, манившей его красотою своей живописной природы и теми историческими и легендарными воспоминаниями, которые связаны с разными ее уголками.

В Диккенсе странным образом соединялась любовь к семейной жизни, к родному дому, к тесному кружку близких друзей со страстью к путешествиям, к перемене мест. Как только материальные средства его улучшились настолько, что он мог устраивать жизнь по своему вкусу, он стал каждый год предпринимать небольшие поездки по различным местам Англии.

Вашингтон Ирвинг, которого называли «отцом американской литературы», писал своего английскому коллеге о той популярности, какой пользуются его романы в Америке, и звал его лично в этом убедиться. Диккенса неудержимо потянуло за океан. В январе 1842 года он вместе с женою сел на пароход. Море, обыкновенно бурное в это время года, встретило их далеко не гостеприимно. Сильная качка продержала их в постели большую часть пути, им пришлось перенести страшную бурю, едва не разбившую пароход. Но все неудобства и опасности пути были забыты, как только они ступили на берег Америки. Если в Эдинбурге Диккенса встречали с княжескими почестями, то в Соединенных Штатах ему приготовили прием, достойный победителя-триумфатора. Очевидно, он пользовался среди американцев еще большей популярностью, чем среди англичан. Они не менее своих заатлантических собратьев пленялись чертами гуманности, сердечности, человеколюбия, отличающими его произведения, но, кроме того, они находили в них под маской юмора протест против темных сторон английской действительности.

Этот взрыв народного энтузиазма, вызванный исключительно поклонением его таланту, не мог не возбудить чувства горделивой радости в сердце молодого писателя. Под влиянием этого чувства его первые впечатления от американской жизни оказываются самыми розовыми. Он находит, что бостонские женщины очень хороши собой, что американцы отличаются добродушием и услужливостью, что у рабочих в Америке гораздо лучшее положение, чем в Европе, и что нищенства не существует в больших городах Нового Света.

Но благодушное отношение Диккенса к американскому народу продолжалось недолго: юмор был слишком присущ его натуре, чтобы он не мог не поразиться множеству странных и смешных черт в характере, манерах, способе общения своих американских поклонников.

Немедленно по возвращении из Америки Диккенс принялся за приготовление к печати своих «Американских заметок». Он мечтал увидеть в Новом Свете обновленное молодое общество, чуждое пороков и предрассудков Старого Света, проникнутое идеями равенства, свободы, быстрыми шагами идущее по пути прогресса. Но увидел самохвальство и самоуверенность американцев, их ханжество и лицемерие, продажность и преклонение перед долларом. Он предчувствовал, что книга его встретит недружелюбный прием в Америке. И действительно, вся американская пресса, за немногими исключениями, ополчилась на него: его

обвиняли в неблагодарности, в низком недоброжелательстве, называли глупым подлецом, клеветником.

Не смущаясь газетных нападок, Диккенс с увлечением продолжал любимую литературную работу.

Осенью 1842 года Диккенс в обществе Форстера и двух художников, Мэклиз и Стенфилда, предпринял поездку в Корнуолл. Частью в экипаже, частью пешком друзья обошли весь юго-западный берег Англии, посетили горы, освященные легендой «Круглого стола», поднялись на вершину Святого Михаила, любовались живописными развалинами, таинственными пещерами и величественным зрелищем солнечного заката с высоты мыса Ландс-Энд.

«Дух красоты и дух веселости были нашими постоянными спутниками, – пишет об этом путешествии Диккенс. – Никогда в жизни я так не смеялся, как в эти дни; на Стенфилда находили такие припадки удушливого хохота, что мы должны были несколько раз колотить его по спине своими мешками, чтобы привести в чувство».

В 1843 году вышла в свет «Рождественская песнь в прозе». Издатель Диккенса поначалу отверг этот святочный рассказ с привидениями, поэтому писатель использовал свои небольшие оставшиеся средства для печати книги. Это история о том, как скряга и стяжатель Скрудж возрождается к новой, светлой и нравственной жизни. В повести Диккенс воспекает традиционные «рождественские ценности» – семейное тепло, бескорыстие, любовь к ближнему, сострадание. На фоне растущей промышленной революции читатели нуждались в духовном обновлении, готовые принять книгу, в которой финал был бы радостным и благословенным. В течение первого года была распродана 15 тысяч экземпляров новеллы, а так как лондонские театры начали активно ставить театральные постановки по книге. После дебюта «Рождественской песни в прозе» в Англии появились специально приготовленные рождественские обеды в столовых, а многие предприятия стали закрываться на время праздника.

Следом были опубликованы «Колокола» – рассказ домового о том, как куранты провожали старый и встречали Новый год.

К Рождеству 1845 года писатель, по примеру прошлых лет, выпустил в свет рождественскую сказку о семейном счастье «Сверчок за очагом». В последующие годы к рождественскому циклу прибавились повесть о любви «Битва жизни» и разговор с привидением «Одержимый». Тема Рождества пронизывает и многие другие произведения писателя. В Англии имя Диккенса стало синонимом Рождества. Великий писатель оказал огромное влияние на восприятие этого праздника у себя на родине, наделив его новым смыслом, создав чисто английскую «рождественскую философию», придал английскому Рождеству духовный и нравственный смысл главного и самого любимого праздника.

В канун и в день Рождества Диккенс оценивал прожитую жизнь и, прежде всего, свои неудачи и отношения с родными и друзьями. Это и стало для многих поколений англичан примером того восприятия Рождества, которое со временем укоренилось в национальном характере.

Диккенс без усталости путешествует по Европе. Особенно его пленила Италия. Самое сильное впечатление произвела на него Венеция. Около года провел Диккенс в Италии, и его уже потянуло домой, на Девонширскую террасу.

Весной 1845 года Диккенс опять со всей семьей отправился за границу, на этот раз – в Швейцарию. Поселились в Лозанне на берегу Женевского озера, в небольшой уютной вилле, и первые письма его наполнены восторженными описаниями швейцарской природы и швейцарцев. Горы производили на него чарующее впечатление удивительным разнообразием своих форм и оттенков. В Лозанне, как и во всех местах, где ему случалось жить, Диккенс обратил внимание на тюрьмы и благотворительные учреждения. Он близко сошелся с тюремным доктором и с удовольствием узнал от него, что швейцарское правительство после непродолжительного опыта отказалось от американской системы одиночного заключения.

Швейцарский народ нравился Диккенсу. «Они не так грациозны и изящны, как итальянцы, – говорит он, – у них не такая приятная манера обращения, как у некоторых французских крестьян, но они замечательно благовоспитанны (школы в этом кантоне поставлены превосходно) и на всякий вопрос готовы дать учтивый и удовлетворительный ответ. Их трудолюбие, опрятность, аккуратность неподражаемы».

Кроме швейцарских знакомых, с которыми Диккенс, по своему обыкновению, очень скоро сошелся на дружескую ногу, в Лозанне жила целая колония образованных симпатичных англичан, с радостью принявших в свой кружок романиста и его семью. Вместе они совершали прогулки по окрестностям и более длинные экскурсии в горы, им же Диккенс прочел первые главы своего романа «Домби и сын». Лондонские друзья тоже временами навещали хорошенькую виллу на берегу Женевского озера; все соединилось, чтобы сделать Диккенсу жизнь приятной, и он действительно чувствовал себя отлично, пока не принялся серьезно за работу.

Немало времени Диккенс проводил также в Париже, улицы которого могли, по его мнению, заменить ему лондонские окрестности.

Париж конца царствования короля Луи-Филиппа, свергнутого с престола Французской революцией 1848 года, произвел неприятное впечатление на романиста. В воздухе чувствовалось что-то недоброе. С одной стороны, Диккенс замечал нищету населения, из-за которой в городе процветали воровство и грабежи на самых людных улицах, с другой – его удивляли беззаботность и легкомыслие обеспеченных классов. Ни одно из общественных учреждений Парижа не осталось не осмотренным Диккенсом; он всюду побывал: в тюрьмах, во дворцах, в больницах, на кладбищах. Французские театры сильно увлекали его, и он большую часть вечеров проводил в одном из них. Ему удалось завести знакомство почти со всеми знаменитостями тогдашнего литературного мира Парижа.

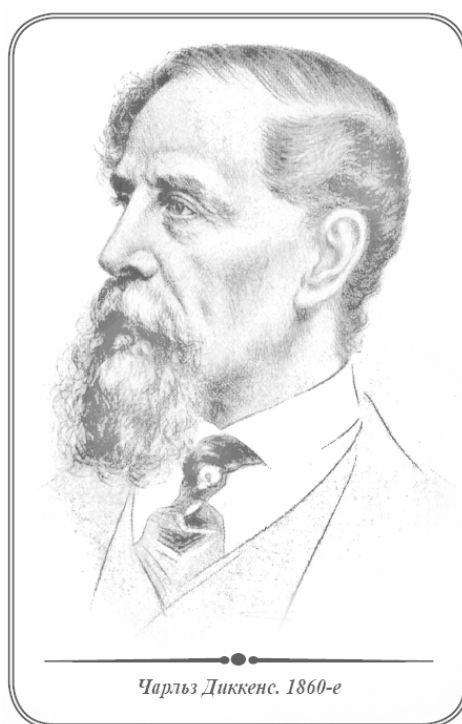
Болезнь старшего сына, учившегося в Королевской коллегии в Лондоне, заставила Диккенса сократить свое пребывание в Париже и вернуться в Англию. Роман «Домби и сын» начал выходить в его отсутствие ежемесячными книжками и расходился в огромном количестве экземпляров (издан в одном томе в 1848 году). Благодаря этому материальное положение романиста оказалось вполне стабильным, и вопрос о денежных средствах перестал омрачать его жизнь.

Диккенсу всегда казалось, что его настоящее призвание – быть актером. Он с величайшим удовольствием принимал участие в любительских спектаклях. Вернувшись из Италии, Диккенс с компанией молодых писателей нанял зал маленького частного театра и с таким успехом дал одну остроумную пьесу Бена Джонсона, что ее пришлось повторить на более широкой публике с благотворительной целью. По возвращении из Парижа романист принял самое деятельное участие в устройстве целого ряда спектаклей: сначала в пользу нескольких литераторов, а затем в пользу «Общества покровительства литературе и искусству». Целая компания молодых писателей, художников и актеров, во главе которой стояли Диккенс и Эдуард Бульвер, давали представления в течение нескольких лет в Лондоне и других больших городах Англии и Шотландии. Диккенс был душой всего предприятия. Он мастерски исполнял комические роли и, кроме того, брал на себя обязанности не только режиссера, но также машиниста, декоратора и суфлера. Он помогал плотникам, изобретал костюмы, составлял афиши, писал приглашительные билеты, репетировал роли со всеми актерами. Его неутомимая деятельность и неистощимая веселость всех возбуждали и оживляли. Он больше всех работал и на утренних репетициях, и на вечерних представлениях, а за ранними обедами и поздними ужинами, на которые собиралась вся труппа, он хохотал громче всех, шутил всех остроумнее, болтал всех веселее.

Кроме театральных подмостков, Диккенсу очень часто приходилось являться перед публикой в качестве оратора на разных митингах, торжественных собраниях и обедах. Всякое общество, имевшее целью распространение просвещения в народе или оказание помощи

неимушим, приглашало его, зная, что его присутствие привлечет массу публики. Он обыкновенно говорил просто, убедительно, иногда остроумно, без всяких громких, напыщенных фраз. Он указывал на великое значение науки и знания, на страшную несправедливость наказывать людей за совершаемое ими зло, когда они лишены средств узнать добро, на необходимость путем народных библиотек и популярных лекций распространять как можно шире блага просвещения.

Роман «Домби и сын» был окончен Диккенсом весной 1848 года и с самых первых выпусков завоевал себе симпатии публики. Ни один писатель не обладал такой способностью создавать живые детские образы, как Диккенс, и ни один из детских образов не удался ему так, как маленький Пол Домби. Этот крошечный человечек, сидящий в креслице у камина и задающий глубокомысленные вопросы, с первого появления своего на страницах романа стал близок и дорог всем читателям. В Англии, во Франции, в Америке десятки тысяч читателей оплакивали его смерть, точно смерть члена своей собственной семьи.



Летний отдых на берегу моря по окончании романа «Домби и сын» был омрачен для писателя смертью его любимой сестры Фанни – талантливой певицы, с успехом выступавшей на сцене небольших театров. Очень возможно, что эта смерть дорогой свидетельницы и участницы страданий первых лет его жизни заставила Диккенса особенно часто переноситься мыслью к воспоминаниям детства и внести множество автобиографических черт в новое произведение, план которого стоял перед ним еще в тумане. Задумав писать новый роман от первого лица, он решил ввести в него, конечно в значительно измененном виде, многие эпизоды из своей биографии.

С начала 1849 года все мысли Диккенса были заняты этим новым большим романом «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». Первые главы продвигались у него очень туго: «Я знаю, что мне надобно делать, но тащусь вперед, точно тяжело нагруженный дилижанс, – писал он. – Я в унылом настроении, и длинная перспектива „Копперфилда“ представляется мне окутанной холодной, туманной мглой». Но по мере того как он писал, рассказ все более и более захватывал его. Он всегда жил и страдал вместе со своими героями, – а тут

примешивались еще и личные воспоминания, отрывки собственной истории. Роман вышел отдельной книгой в 1850 году.

В начале 1850 года осуществилась, наконец, давнишняя мечта Диккенса издавать журнал. Это издание, в котором он до конца жизни принимал участие, называлось сначала «Домашнее чтение», а затем, после 1859 года, «Круглый год» и должно было, как говорилось в его программе, давать «полезное и приятное чтение всем классам общества и содействовать выяснению главнейших вопросов современной жизни». В нем помещались поэтические произведения, романы, повести и популярные статьи по разным животрепещущим вопросам жизни и литературы. Журнал в значительной степени оправдал надежды Диккенса и вскоре стал одним из самых популярных периодических изданий Англии. Научные статьи его были интересны, удобопонятны, часто даже блестящи; в беллетристическом отделе встречались имена лучших представителей английской литературы пятидесятых и шестидесятых годов. Кроме Диккенса, в нем участвовали Эдуард Бульвер, Уилки Коллинз, Чарльз Рид, миссис Элизабет Гаскелл и многие другие.

Независимо от участия в журнале Диккенс издал отдельными книжками новый роман «Холодный дом», начатый им осенью 1851 года и законченный летом 1853 года. Центральным событием, вокруг которого вращается интрига романа, является бесконечно длинный процесс, что дает возможность Диккенсу заклеить одну из язв английской общественной жизни – медлительность, формалистику и дороговизну английского судопроизводства. Целая фаланга всевозможных адвокатов, прокуроров, поверенных, клерков, судебных приставов и ростовщиков теснится вокруг главных действующих лиц романа и захватывает их в свои сети.

Страсть Диккенса к путешествиям, к перемене мест не ослабевала, а возрастала с годами. После 1850 года он редко жил больше шести-семи месяцев в одном месте. Кроме постоянных экскурсий, – то для посещения какого-нибудь живописного уголка Англии, то с труппой актеров-любителей, – он непременно каждый год проводил несколько месяцев на берегу моря, а в 1853 и 1855 годах опять путешествовал по Европе. Побывал в Швейцарии и Италии, прожил несколько месяцев в Париже. Дом на Девонширской террасе, вполне удовлетворявший его прежде, показался ему слишком тесным, и он нанял другой. Приморское местечко Бродстерс, которым он раньше восхищался, надоело ему, и он стал искать новые, провел три купальных сезона в Булони, пленившей его красотой местоположения и живописной оригинальностью своих жителей-рыбаков. Беспокойная жажда перемены места особенно овладевала им при замысле какого-нибудь большого произведения, когда план еще смутно вырисовывался в его мозгу, и когда, по собственному выражению, он «мучился новым романом».

Усиленная работа стала утомлять его более прежних лет. «Мнительность подсказывает мне, что я слишком заработался, – говорит он в одном письме от 1852 года. – Весна не возвращается ко мне так быстро, как в прежнее время, когда я кончал работу и мог ничего не делать». Особенно надоела ему журнальная работа: с одной стороны, своей срочностью, с другой – необходимостью применяться к форме еженедельной газеты.

Одни только путешествия в состоянии были возратить ему бодрость, веселость и оживление. Все письма его к друзьям из Швейцарии и Италии, из Булони и Парижа дышат остроумием, наполнены тонкой наблюдательностью. Особенно интересны письма Диккенса из Парижа, который он видел в последние годы короля-буржуа и снова посетил девять лет спустя при наполеоновском режиме. Он прожил там полгода с конца 1855 года, проводя все время среди писателей, художников и актеров.

Чем старше он становился, тем более противной становилась ему светская жизнь, приличия высшего общества. Он давно уже перестал одеваться франтом, как бывало в молодости, и теперь расхаживал по Парижу в широком синем пальто, с большой бородой, с загорелым энергичным лицом, похожий с виду на какого-то отставного моряка.

Театры по обыкновению сильно привлекали Диккенса, и он в своих письмах дает полный разбор пьес, которые шли в то время. Политическое положение представлялось ему столь же неблагоприятным, как и в 1846 году. Тогда он предвидел близость переворота, теперь он замечал глубокую язву, разъедавшую общественный организм: чудовищную погоню за наживой, бешеную спекуляцию, охватившую все и всех.

К военным действиям с Россией, происходившим в то время в Крыму, французское общество относилось вполне индифферентно. «Вчера в театре, – рассказывает Диккенс, – представление было приостановлено, и со сцены прочитано известие о победе французов в Крыму. Это не произвело ни малейшего впечатления на слушателей, и даже нанятые клакеры, считая, что по условию они не обязаны аплодировать войне, сидели тише воды. А театр был полон. При виде этой апатии нельзя думать, чтобы война была популярна, несмотря на утверждения официальных газет».

Диккенс возобновил свои прежние знакомства в литературном мире Парижа и приобрел новые. Ему очень понравились драматург Эжен Скриб и его жена; в доме театрального деятеля Луи Виардо он встретил писательницу Жорж Санд, которая показалась ему «совсем простой женщиной, толстой, смуглой, черноглазой матроной».

Живя в Париже, Диккенс не оставлял литературной работы и прилежно трудился над романом «Крошка Доррит». До тех пор ни один литературный труд не требовал стольких переписок заново. Нельзя сказать, чтобы талант оставлял его, но, очевидно, процесс творчества становился для него более затруднительным, чем прежде, он не мог с прежней легкостью наполнять страницы своих романов вереницей живых оригинальных личностей. Читатели не замечали этой перемены. «Крошка Доррит» расходилась в огромном количестве экземпляров, и если главная героиня казалась несколько бесцветной и пресной, зато остальные члены семьи Доррит и второстепенные личности были полны жизни и юмора.

Сам Диккенс не только осознавал ослабление своей творческой силы, но и значительно преувеличивал его. В своих письмах этого времени он горько жалуется на то, что писательская деятельность приходит к концу, что никогда не вернуть ему прежней свежести мысли, плодovitости воображения. Чтобы заглушить это мучительное сознание, он с лихорадочной жадностью брался за устройство театральных представлений, за участие в политических митингах и разных благотворительных собраниях, за публичное чтение своих произведений в пользу разных обществ и учреждений.

Не один только страх за гибель таланта мучил его в это время. «Всякий раз, когда на меня нападает уныние, – писал он своему другу Форстеру из Парижа, – я чувствую, что есть одно счастье в жизни, которого я не знал». Это было счастье в супружестве. Диккенс женился очень рано на девушке, с которой он был мало знаком, и которая пленила его исключительно своей красотой. Вскоре оказалось, что внутренней симпатии между супругами нет и быть не может. Спокойная, холодная, здравомыслящая красавица не понимала нервной, увлекающейся натуры романиста, относилась свысока к его причудам, к его бурной веселости, к его юмористическим взглядам на людей и часто бессознательно оскорбляла его своими пошло-разумными замечаниями и рассуждениями. Диккенс мучился, волновался. До крайности впечатлительный и самолюбивый, он придавал каждой безделице громадное значение, не довольствовался внешней уступчивостью жены, возмущался тем, что она не может смотреть на вещи с его точки зрения, что она любит светскую жизнь, готова раболепствовать перед так называемым высшим обществом. В молодые годы это различие характеров проявлялось не особенно резко. С одной стороны, ореол славы, окружавший молодого писателя, заставлял госпожу Диккенс снисходительнее относиться к его «слабостям», с другой – сам романист, увлеченный своей фантазией и окружающей жизнью, редко задумывался над недостатками «Кетти» и от души радовался, когда она соглашалась сопровождать его в путешествиях. С годами, с упрочением материального благосостояния взаимное отсутствие симпатии проявлялось все сильнее, все мучитель-

нее. Госпожа Диккенс ничего не имела против литературной деятельности мужа, приносившей значительный доход, но ей хотелось жить жизнью леди – спокойно, благоприлично, принимая у себя избранное общество. Диккенс не выносил ни этого однообразия, ни, в особенности, этого «избранного» общества. Он ставил все вверх дном в доме, чтобы превратить свою квартиру в домашний театр, он целые дни проводил с художниками и актерами и отказывался от сближения с аристократами. Наконец дело дошло до того, что совместная жизнь стала одинаково нестерпимой для обоих супругов.

Напрасно Форстер старался примирить супругов, доказывая Диккенсу, что ни одно супружество не обходится без тех облаков, которые омрачают его семейную жизнь. Струна была слишком натянута и должна была порваться: «Не думайте, будто что-нибудь может поправить наши домашние дела, – писал ему Диккенс в ответ на его увещания, – ничто не может поправить их, кроме смерти. Мы дошли до полного банкротства и должны окончательно ликвидировать наши дела». После многих колебаний и тяжелых семейных сцен супруги разошлись, наконец, по обоюдному согласию в мае 1858 года. Госпожа Диккенс осталась жить в Лондоне со старшим сыном и получала от мужа по шесть тысяч рублей в год на свое содержание, остальные дети (шесть сыновей и две взрослые дочери) поселились с отцом в поместье, купленном им незадолго перед тем. Свояченица Диккенса, мисс Джорджина Гогард, последовала за ним и заменила мать его детям.

Одним из поводов к последним ссорам между госпожой Диккенс и ее мужем было непереносимое желание Диккенса выступить в роли публичного чтеца своих произведений. Собственно говоря, он в последние пять лет очень часто читал в многолюдных собраниях, но всегда бесплатно, с благотворительной целью. Читал он вообще мастерски, особенно свои собственные произведения, и это искусство в соединении с популярностью его имени привлекало обыкновенно массу публики. Первые чтения его в Бирмингеме в 1853 году в пользу Политехнического института имели такой громадный успех, что на него посыпались просьбы и приглашения читать из разных городов, от разных учреждений. Ему предлагали плату за чтения, но он отказывался от денег и читал бесплатно. По мере того, как у Диккенса росло сомнение в прочности его литературного таланта и возможности с прежним успехом продолжать писательскую деятельность, ему чаще и чаще приходила в голову мысль пользоваться для удовлетворения материальных нужд не пером, а другим средством, находящимся в его распоряжении.

Первое платное чтение Диккенса дано было в Лондоне, в апреле 1858 года, и затем в продолжение двенадцати лет с более или менее длинными промежутками следовал целый ряд чтений в разных городах Англии, Шотландии, Ирландии и Соединенных Штатов. Чтения эти можно назвать непрерывным рядом триумфов. Во всех городах, больших и малых, билеты покупались нарасхват, залы, предназначенные для чтения, были переполнены публикой, чтеца встречали и провожали восторженные крики, громкие рукоплескания.

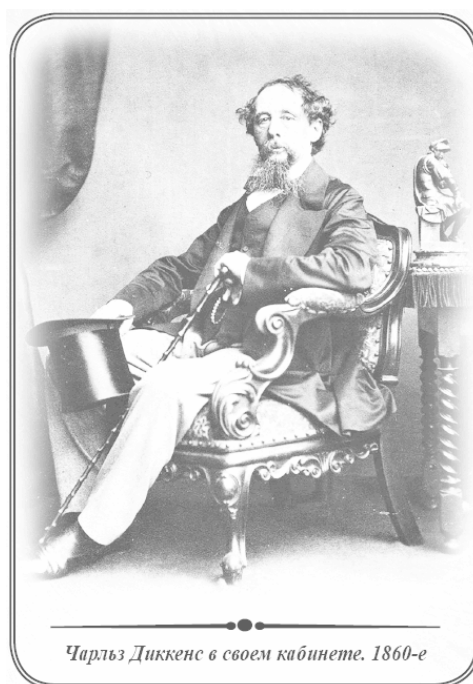
Диккенса особенно трогали те выражения личной симпатии, которые ему беспрестанно приходилось замечать. Громадный успех давался нелегко. Чтения в душных залах, переполненных публикой, беспрестанные поездки по железным дорогам, волнение, сопряженное со всяким выходом на сцену, – все это в высшей степени утомляло его. Он начал страдать бессонницей и часто жаловался на головные боли, на полное изнеможение. Первая серия его чтений продолжалась с весны 1858-го до зимы 1859 года; вторая – с начала 1861-го по 1863 год, а третья – в 1866 году. В промежутках между чтениями он жил с семьей в своем загородном доме. Дом этот Гэдсхилл Плэйс в деревне Хайэм находится недалеко от Чатема, в той местности, которая всегда была дорога романисту по воспоминаниям счастливых лет его детства. Маленьким ребенком он часто гулял мимо этого дома, с благоговением поглядывая на него, и отец не раз говорил ему: «Учись прилежно, трудись, тогда, может быть, тебе и удастся жить в этом доме».

Диккенс был вне себя от радости, когда обстоятельства позволили ему осуществить мечту детских лет и приобрести в собственность Гэдсхиллскую усадьбу. Дом требовал значительного ремонта, но это не смущало его, и он со своим обычным увлечением принялся переделывать, исправлять, украшать, оставляя неприкосновенным только наружный вид старомодного двухэтажного кирпичного дома с маленькой башенкой, пленявшей его в детстве. Недалеко от дома, отрезанная от него проезжей дорогой, находилась рощица с двумя великолепными кедрами. Диккенс соединил эту рощу подземным ходом с домом и поставил в ней швейцарский шале, который получил в подарок разобранным на части от одного приятеля из Парижа. В шале он устроил свой рабочий кабинет, о котором писал: «Комната со всех сторон окружена деревьями, птицы и бабочки свободно летают в ней, зеленые ветви деревьев врываются в открытые окна, цветы наполняют ее своим благоуханием, а пять больших зеркал, которыми я ее украсил, отражают и трепещущую листву, и поля волнующейся ржи, и белые паруса, скользящие по реке».

В Гэдсхилле жизнь Диккенса шла вполне размеренно, все делалось в определенные часы, как он любил. Вставал он обыкновенно рано и все утро проводил за работой, но прежде чем сесть за свой письменный стол, обходил все комнаты, службы и огород, осматривая, все ли в порядке. В виде отдыха от занятий он совершал длинные прогулки пешком, а когда к нему приезжали, что случалось очень часто, знакомые англичане или американцы, он устраивал экскурсии для осмотра окрестных замков, соборов и крепостей.

Отношения Диккенса с сыновьями и дочерьми были всегда самые нежные и задушевные. Пока они были детьми, он принимал участие в их забавах, в случае болезни просиживал ночи у их постели, бросал все занятия, чтобы устроить им «туманные картины» или домашний спектакль.

Дом Диккенса всегда был населен разными домашними животными и птицами. У него постоянно жили друзья и питомцы, как пернатые, так и четвероногие. Нередко бросал он книгу, чтобы доставить удовольствие своему любимому коту, поиграть с ним. В Гэдсхилле целое семейство псов-водолазов постоянно сопровождало его в прогулках, и, читая те страницы, в которых он с такой любовью, с таким добродушным юмором описывает приятелям все свойства и похождения своих собак, можно подумать, что дело идет о человеческих существах.



Чарльз Диккенс в своем кабинете. 1860-е

Диккенс всегда жил в самых дружеских отношениях со своими бедными соседями; в случае болезни или несчастья они смело шли к нему за помощью. Никакие публичные оации не трогали Диккенса так сильно, как их искреннее выражение симпатии к нему не как к писателю, а как к частному человеку...

«Страшно подумать, сколько друзей падает вокруг нас, когда мы достигаем среднего возраста, – писал Диккенс. – Страшный серп безжалостно косит окружающее поле, и чувствуешь, что твой собственный колос уже созрел». Этот серп особенно жестоко поражал Диккенса во время пребывания его в Гэдсхилле. Потери близких и родных глубоко огорчали его, но он старался не поддаваться горю и искал забвения или в усиленном труде, или в тех тревожных, какие доставляли ему его публичные чтения. Внешне он казался бодрым, но тем сильнее страдала его нервная система. В начале 1865 года Диккенс вдруг почувствовал странную боль в левой ноге, так что принужден был на несколько недель лечь в постель. Болезнь плохо поддавалась лечению, доктора приписывали ее нервному расстройству. Когда писатель встал с постели, он оказался хромым, и хромота эта оставалась до конца его жизни.

Вскоре после этого он едва не погиб в железнодорожной катастрофе. Под поездом, на котором он ехал, сломался мост; несколько вагонов свалилось в реку, а тот, в котором он сидел, повис над бездной. В момент катастрофы Диккенс не потерял присутствия духа. Он успокоил своих соседей, вылез из окна, помог кондукторам вытащить пассажиров из уцелевших вагонов, ухаживал за ранеными и умиравшими. Но это ужасное происшествие произвело на него гнетущее впечатление, которое даже время не могло изгладить. Год спустя он писал: «Путешествие по железной дороге страшно тяжело для меня. У меня беспрестанно появляется ощущение, точно вагон валится на левую сторону, дыхание захватывает, я чувствую дрожь во всем теле, и, странное дело, припадки эти не только не уменьшаются, а скорее усиливаются с течением времени».

Несмотря на припадки, на повторение болей в ноге, на почти постоянную бессонницу и легкие обмороки, вызываемые ослабленной деятельностью сердца, Диккенс ни за что не соглашался отказаться от третьей серии публичных чтений, начатой им с весны 1866 года. Он, может быть, чувствовал, сам того не осознавая, что ему осталось уже мало времени для работы, и спешил воспользоваться этим временем. «Я уверен, что заржавею и ослабею, если стану беречь себя, – возражал он на замечания друзей. – Лучше всего умереть, работая. Таким создала меня природа, таким я всегда жил и до конца не изменю своих привычек».

С 1859 года он сделался единственным собственником журнала «Круглый год». Благодаря добросовестным сотрудникам редактирование журнала отнимало у него немного времени, но он постоянно поставлял туда свои произведения. С 1860 года Диккенс начал писать ряд статей под общим названием «Некоммерческий путешественник», продолжавшийся до последнего года его жизни. Это были мелкие очерки, частью автобиографические, частью почерпнутые из наблюдений, собранных им во время его разнообразных путешествий. Почти ни один рождественский номер журнала не выходил без его рассказа, кроме того, он поместил в нем свою «Историю Англии для детей» и два больших романа: «Повесть о двух городах» (1858 год) и «Большие надежды» (1860 год).

С весны 1865 года Диккенс начал печатать отдельными выпусками роман «Наш общий друг». Тяжелые удары судьбы, перенесенные в это время автором, отразились на этом произведении. В нем замечается некоторый недостаток свежести и прежней творческой силы, но автор до конца остается неподражаемым юмористом, красноречивым защитником всего угнетенного и обездоленного.

После путешествия Диккенса по Америке прошло двадцать пять лет. Неприятное впечатление, произведенное на американцев его беспощадными отзывами, давно изгладилось, и он по-прежнему был любимым писателем в Соединенных Штатах. Американские журналы считали для себя за честь, когда он соглашался прислать им какой-нибудь свой рассказ, амери-

канские издатели платили громадные деньги за право перепечатывать его произведения. Как только он выступил в Англии в качестве публичного чтеца своих произведений, из Америки посыпались приглашения открыть и там ряд чтений. Разные антрепренеры сулили ему громадные выгоды, все знакомые, приезжавшие из Соединенных Штатов, уверяли его, что он будет принят с восторгом. Слава, деньги, далекое путешествие, возможность проверить впечатления молодых лет – все это было так заманчиво для Диккенса, что он едва не принял приглашения американцев еще в 1860 году. Междоусобная война, вспыхнувшая в Соединенных Штатах, удержала его. Но вот война закончилась, приглашения из Америки возобновились с новой настойчивостью, и он не устоял. Напрасно друзья старались отговорить Диккенса, указывая на его расстроенное здоровье. Он не придавал серьезного значения своим болезням и в ноябре 1866 года сел на корабль, который должен был доставить его в Бостон. Несмотря на кажущуюся бодрость, с какой знаменитый писатель пускался в путь, Диккенс несколько тревожил прием, ожидавший его, он боялся встретить какие-нибудь неприязненные намеки на старые сочинения об Америке. Но с первых шагов по американской земле все эти опасения исчезли бесследно. Везде его встречали еще более радушно, чем в первый раз; его рассказы и романы красовались на окнах всех книжных магазинов; на пароходах, в вагонах, в театре, на улице Диккенс беспрестанно слышал в разговорах цитаты из своих произведений; билеты на его чтения раскупались заранее.

Выражения личной симпатии со стороны граждан Америки глубоко трогали Диккенса: перед Рождеством он нашел у себя в комнате ветвь омелы, нарочно выписанную из Англии, чтобы напомнить ему родину, где в сочельник этим растением украшают дома. В день рождения он получил несметное количество венков, букетов, цветов. Желание посмотреть на него, пожать ему руку было и на этот раз так же сильно, как двадцать пять лет тому назад. Диккенс заметил значительное улучшение в нравах американцев. Люди проявляли менее назойливости, нахального любопытства, были сдержаннее, деликатнее.

Зная, что он нездоров, что ему нужен отдых, никто не навязывался к нему со своими посещениями, не приставал с разговорами на улицах или в вагонах. Замечая взгляды, полные участия и любопытства, которые всюду обращались на него, он иногда сам заговаривал со своими спутниками и ясно видел, с какой радостью принималось его приветствие, его рукопожатие.

Кроме благоприятной перемены во внешнем обращении, он отмечает в своих письмах громадное развитие промышленности, возрастание богатства городов наряду с появлением нищенствующего пролетариата, значительное повышение уровня прессы, которая в ведущих своих изданиях стала проявлять более сдержанности, независимости, менее заносчивости, чем прежде.

Опасения друзей, что американские чтения вредно скажутся на здоровье Диккенса, подтвердились. Зима в этом году стояла необыкновенно суровая, он простудился в первый же месяц и до конца своего пребывания в Америке не мог отделаться от сильного кашля и насморка. К этому вскоре присоединились его прежние страдания: боль в ноге, бессонница, обмороки. Болезни заставила его сократить свое пребывание в Америке. Он отказался от намерения посетить западные штаты и Канаду и в начале мая прибыл обратно в Англию.

Переезд морем и особенно отдых от всяких работ подействовали в высшей степени благотворно на здоровье Диккенса. Доктор, увидевший его вскоре по возвращении, воскликнул с радостным изумлением: «Боже мой! Да вы помолодели на семь лет!» И сам Диккенс чувствовал себя настолько крепким, что, не задумываясь, вступил в соглашение со своим прежним антрепренером и обязался дать сто чтений в разных городах Англии с платой по восемьсот рублей за вечер. Вряд ли это желание продолжать утомительную и вредную для здоровья работу вызывалось денежными расчетами. Диккенс никогда не был корыстолюбив, а путешествие в Америку дало ему гораздо больше денег, чем он надеялся.

С самого начала чтений возобновились прежние припадки бессонницы и упадок сил. Несмотря на это, Диккенс читал в течение трех месяцев с прежним успехом в разных городах Англии и Шотландии. В феврале боль в ноге усилилась, и ему пришлось пролежать несколько дней в постели. Отдохнув с неделю, он, несмотря на все просьбы детей и друзей, снова принялся за дело и отправился в Эдинбург. Весь март от него приходили самые успокоительные письма, но в конце апреля появились такие тревожные симптомы, что он сам испугался и выписал к себе своего доктора. Кроме сильной боли в ноге, он чувствовал головокружение, приглушенное осязание в левой руке и плохую координацию движений этой руки. Доктор сразу понял, как опасны эти признаки, и не скрывал от родных, что больному грозит паралич или даже смерть. Он запретил ему всякие публичные чтения, по крайней мере, на год и, не слушая никаких возражений, привез его с собой в Лондон.

Благодаря заботам родных и друзей, здоровье Диккенса опять до некоторой степени восстановилось и, спокойно живя в Гэдсхилле, он мог заниматься литературной работой, совершать длинные прогулки с друзьями, принимать участие в скромных празднествах окрестного населения.

Литературной работой, которой занимался Диккенс в последние месяцы своей жизни, был роман «Тайна Эдвина Друда». Диккенсу удалось написать только половину романа, и в бумагах его не найдено ни черновых записей, ни заметок, относящихся к последующим главам. В начале 1870 года он переселился на время в Лондон и выпросил у докторов позволение дать двенадцать прощальных чтений. Доктора согласились при условии, чтобы чтения не сопровождались путешествиями по железной дороге, и чтобы в неделю происходило не более двух чтений.

Чтения давались в Лондоне при громадном стечении публики в присутствии врача и Форстера, которые с заботливым вниманием следили за чтецом. Восторженное сочувствие публики поддерживало его силы, он читал со своим обычным искусством, и никто не замечал, как дорого обходится ему наслаждение, какое он доставляет и себе, и другим. На последнем чтении, 12 марта, Диккенс прочел рождественскую сказку и «Процесс Пиквика». Никогда не читал он так хорошо, с таким увлечением. Публика слушала его, затаив дыхание. Очарование превратилось в грустное умиление, когда Диккенс обратился к публике со словами благодарности и прощанья. По окончании его речи в зале несколько секунд царил гробовое молчание, и затем раздался такой оглушительный взрыв криков и рукоплесканий, что он должен был вернуться на сцену. Бледный, растроганный, улыбался он в последний раз этой тысячной толпе, приветствовавшей в нем и великого художника, и человека с чутким отзывчивым сердцем.

Последний раз Диккенс говорил публично 30 апреля на торжественном обеде в Королевской академии, где он находился в качестве председателя литературного общества. После этого ему пришлось принять несколько приглашений от разных официальных и неофициальных лиц. Только в конце мая он вернулся в Гэдсхилл, чувствовал слабость, легкую боль в руке и ноге, но общее состояние здоровья не внушало особенных опасений. Он немедленно принялся за работу и повел свою обычную размеренную жизнь, не переставая заботиться об украшениях своего дома, но заменив пешеходные прогулки катаньем в экипаже, когда слабость или боль в ноге мешали ему ходить.

Диккенс 8 июня провел все утро за письменным столом и против обыкновения после завтрака опять вернулся в свой кабинет. Когда он вышел в столовую к обеду, домашние заметили, что у него больной и расстроенный вид. Он сказал, что чувствует себя не совсем хорошо, но просил, чтобы продолжали обедать. Это были его последние вполне сознательные слова. После этого он пробормотал несколько несвязных фраз, встал, закачался и едва не упал на пол. Мисс Гогард удалось поддержать его и уложить на диван. Тотчас призваны были врачи, но медицинская помощь оказалась бессильной. Больной пролежал целые сутки без сознания, тяжело дыша, и скончался 9 июня 1870 года, пятидесяти восьми лет от роду.

Вест о смерти Диккенса быстро облетела все страны света и вызвала самые горестные чувства во всем цивилизованном мире. В Англии его оплакивали как близкого друга или родственника. Королева прислала его семье телеграмму с изъявлением своего глубокого сочувствия; все газеты без различия партий выражали свою скорбь и уважение к памяти покойного. «Times» первая заявила, что прах любимого писателя должен покоиться в Вестминстерском аббатстве, этой усыпальнице великих людей Англии. Декан аббатства немедленно откликнулся на это желание нации. Затруднение состояло в том, как согласовать публичные почести, связанные с погребением в Вестминстере, с волей покойного, который в своем духовном завещании настоятельно просил, чтобы его похоронили как можно проще и не ставили дорогого памятника на могиле. Чтобы не нарушать воли покойного, тело его доставлено было рано утром со специальным поездом на станцию Чаринг-Кросс, где его ожидала самая простая погребальная колесница. При погребальной службе никто не присутствовал, кроме семьи и близких друзей покойного. Это, впрочем, не помешало почитателям отдать ему последний долг. Весь этот и несколько следующих дней толпы народа приходили поклониться гробу и украсить его цветами.

Тело Диккенса покоится в Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве в дубовом гробу, к которому прибита медная дощечка с лаконической надписью: «Чарльз Диккенс родился 7 февраля 1812 года, умер 9 июня 1870 года».

Александра Анненская

Часть первая Видения *Повести и рассказы*

Рождественская песнь в прозе *Святочный рассказ с привидениями*

I Тень Марли

Марли умер – начнем с того. Сомневаться в действительности этого события нет ни малейшего повода. Свидетельство об его смерти было подписано священником, причетником, гробовщиком и распорядителем похоронной процессии. Оно было подписано и Скруджем, а имя Скруджа, как и всякая бумага, носившая его подпись, уважались на бирже.



Иллюстрация первого издания
«Рождественской песни в прозе». 1843 г.

А знал ли Скрудж, что тот умер? Конечно, знал. Иначе не могло и быть. Ведь они с Марли были компаньонами бог весть сколько лет. Скрудж же был и его единственным душеприказчиком, единственным наследником, другом и плакальщиком. Но и тот не был особенно поражен этим печальным событием и, как истинно деловой человек, почтил день похорон своего друга удачной операцией на бирже.

Упомянув о похоронах Марли, я поневоле должен вернуться еще раз к тому, с чего начал, то есть что Марли, несомненно, умер. Это необходимо категорически признать раз навсегда, а то в предстоящем моем рассказе не будет ничего чудесного. Ведь если бы мы не были твердо уверены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, то в его ночной прогулке недалеко от собственного жилища не было бы ничего особенно замечательного. Иначе стоило любому отцу средних лет выйти в вечернюю пору подышать свежим воздухом, чтобы перепугать своего трусливого сына.

Скрудж не уничтожил на своей вывеске имени старого Марли; прошло несколько лет, а над конторой по-прежнему стояла надпись «Скрудж и Марли». Под этим двойным именем

фирма их и была известна, так что Скруджа иногда называли Скруджем, иногда, по незнанию, Марли; он отзывался на то и на другое; для него это было безразлично.

Но что за отъявленный кулак был этот Скрудж! Выжать, вырвать, сгрести в свои жадные руки было любимым делом этого старого грешника! Он был тверд и остер, как кремь, из которого никакая сталь не могла извлечь искры благородного огня; скрытный, сдержанный, он прятался от людей, как устрица. Его внутренний холод отражался на его старческих чертах, сказывался в заостренности его носа, в морщинах щек, одеревенелости походки, красноте глаз, синеве его тонких губ и особенно в резкости его грубого голоса. Морозный иней покрывал его голову, брови и небритый подбородок. Свою собственную низкую температуру он всюду приносил с собою: замораживал свою контору в праздничные дни, и даже в Рождество не давал ей нагреться и на один градус больше.

Ни жар, ни холод наружный не действовали на Скруджа. Никакое тепло не в силах было согреть его, никакая стужа не могла заставить его озябнуть. Не было ни ветра резче его, ни снега, который, падая на землю, упорнее преследовал бы свои цели. Проливной дождь, казалось, был доступнее для просьб. Самая гнилая погода не могла донять его. Сильнейший дождь и снег, и град только в одном могли похвалиться перед ним: они часто сходили на землю красиво, Скрудж же не снисходил никогда.

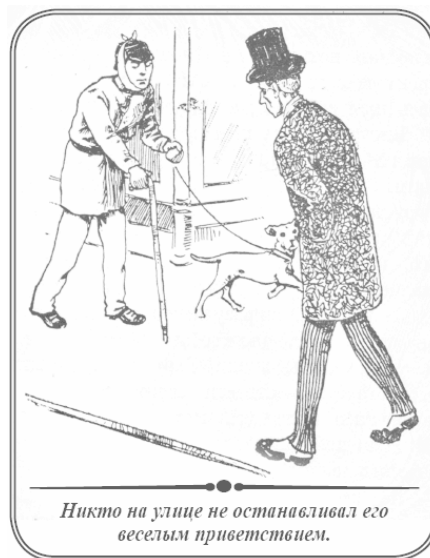


Никто на улице не останавливал его веселым приветствием: «Как поживаете, любезный Скрудж? Когда думаете навестить меня?» Нищие не обращались к нему за милостыней, дети не спрашивали у него, который час; ни разу во всю его жизнь никто не спросил у него дороги. Даже собаки, которые водят слепцов, и те, казалось, знали, что это за человек: как только завидят его, поспешно тащат своего хозяина в сторону, куда-нибудь в ворота или во двор, где, виляя хвостом, как будто хотят сказать своему слепому хозяину: без глаза лучше, чем с дурным глазом!

Но что за дело было до всего этого Скруджу? Напротив, он был очень доволен таким отношением к нему людей. Пробираться в стороне от торной дороги жизни, подальше от всяких человеческих привязанностей, – вот что он любил.

Однажды – это было в один из лучших дней в году, а именно накануне Рождества Христова, – старик Скрудж занимался в своей конторе. Стояла резкая, холодная и притом очень туманная погода. Снаружи доносилось тяжелое дыхание прохожих; слышно было, как они усиленно топали по тротуару ногами, били рука об руку, стараясь как-нибудь согреть свои оченевшие члены. День еще с утра был пасмурный, а когда на городских часах пробило три, то стало так темно, что пламя свечей, зажженных в соседних конторах, казалось сквозь окна каким-то красноватым пятном на непрозрачном буром воздухе. Туман пробивался сквозь каж-

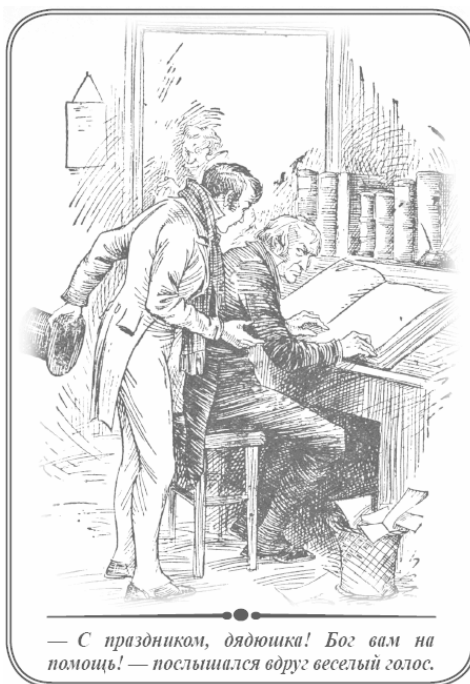
дую щель, через всякую замочную скважину и был так густ снаружи, что дома, стоявшие по другую сторону узкого двора, где помещалась контора, являлись какими-то неясными призраками. Смотря на густые нависшие облака, которые окутывали мраком все окружающее, можно было подумать, что природа сама была здесь, среди людей, и занималась пивоварением в самых широких размерах.



Дверь из комнаты, где занимался Скрудж, была открыта, чтобы ему удобнее было наблюдать за своим конторщиком, который, сидя в крошечной полутемной каморке, переписывал письма. В камине самого Скруджа был разведен очень слабый огонь, а то, чем согревался конторщик, и огнем нельзя было назвать: это был просто едва-едва тлеющий уголек. Растопить пожарче бедняга не осмеливался, потому что ящик с углем Скрудж держал в своей комнате, и решительно всякий раз, когда конторщик входил туда с лопаткой, хозяин предупреждал его, что им придется расстаться. Поневоле пришлось конторщику надеть свой белый шарф и стараться согреть себя у свечки, что ему, за недостатком пылкого воображения, конечно, и не удавалось.



– С праздником, дядюшка! Бог вам на помощь! – послышался вдруг веселый голос.
Это был голос племянника Скруджа, прибежавшего так внезапно, что это приветствие было первым признаком его появления.



– Пустяки! – сказал Скрудж.
Молодой человек так согрелся от быстрой ходьбы по морозу, что красивое лицо его как бы горело; глаза ярко сверкали, и дыхание его было видно на воздухе.
– Как, Рождество пустяки, дядюшка?! – сказал племянник. – Право, вы шутите.
– Нет, не шучу, – возразил Скрудж. – Какой там радостный праздник! По какому праву ты радуешься и чему? Ты так беден.

– Ну, – весело ответил племянник, – а по какому праву вы мрачны, что заставляет вас быть таким угрюмым? Вы ведь так богаты.

Скрудж не нашелся, что ответить на это, и только еще раз произнес:

– Пустяки!

– Будет вам сердиться, дядя... – начал опять племянник.

– Что же прикажете делать, – возразил дядя, – когда живешь в мире таких глупцов? Веселый праздник! Хорош веселый праздник, когда нужно платить по счетам, а денег нет; год прожил, а разбогатеть и на грош не разбогател – приходит время подсчитывать книги, в которых за все двенадцать месяцев ни по одной статье не оказывается прибыли. О, если б моя воля была, – продолжал гневно Скрудж, – каждого идиота, который носится с этим веселым праздником, я бы сварил вместе с его пудингом и похоронил бы его, проколов ему сперва грудь колом из остролистника¹. Вот чтобы я сделал!

– Дядя! Дядя! – произнес, как бы защищаясь, племянник.

– Племянник! – сурово возразил Скрудж. – Справляй Рождество, как знаешь, и предоставь мне справлять его по-своему.

– Справлять! – повторил племянник. – Да разве его так справляют?

– Оставь меня, – сказал Скрудж. – Поступай, как хочешь! Много толку вышло до сих пор из твоего празднования?..

– Правда, я не воспользовался, как следует, многим, что могло бы иметь хорошие для меня последствия, например Рождество. Но, уверяю вас, всегда с приближением этого праздника я думал о нем, как о добром радостном времени, когда, не в пример долгому ряду остальных дней года, все, и мужчины, и женщины, проникаются христианским чувством человечности, думают о меньшей братии, как о действительных своих спутниках к могиле, а не как о низшем роде существ, идущих совсем иным путем. Я уже не говорю здесь о благоговении, подобающем этому празднику по его священному имени и происхождению, если только что-нибудь, связанное с ним, может быть отделено от него. Поэтому-то, дядюшка, хотя оттого у меня ни золота, ни серебра в кармане не прибавлялось, я все-таки верю, что польза для меня от такого отношения к великому празднику была и будет, и я от души благословляю его!

Канторщик в своей каморке не выдержал и одобрительно захлопал в ладоши, но в ту же минуту, почувствовав неуместность своего поступка, поспешно загреб огонь и потушил последнюю слабую искру.

– Если от вас я услышу еще что-нибудь в этом роде, – сказал Скрудж канторщику, – то вам придется отпраздновать свое Рождество потерей места... Однако, вы изрядный оратор, милостивый государь, – прибавил он, обращаясь к племяннику, – удивительно, что вы не член парламента.

– Не сердитесь, дядя. Пожалуйста, приходите к нам завтра обедать.

Тут Скрудж, не стесняясь, предложил ему убраться подальше.

– Почему же? – воскликнул племянник. – Почему?

– Почему ты женился? – сказал Скрудж.

– Потому что влюбился.

– Потому что влюбился! – проворчал Скрудж, будто это была единственная вещь в мире, еще более смешная, чем радость праздника. – Прощай!

– Но, дядюшка, вы ведь и до свадьбы никогда не бывали у меня. Зачем же ссылаться на нее как на предлог, чтобы не прийти ко мне теперь?

– Прощай! – повторил Скрудж вместо ответа.

– Мне ничего от вас не нужно, я ничего не прошу у вас. Отчего бы не быть нам друзьями?

¹ Пудинг – необходимое рождественское блюдо англичан, как остролистник – обязательное украшение их комнат на святочных вечерах.

– Прощай!

– Сердечно жалею, что вы так непреклонны. Мы никогда не ссорились по моей вине. Ради Рождества я останусь до конца верным своему праздничному настроению. Итак, дядюшка, дай вам Бог в радости встретить и провести праздник!

– Прощай! – твердил старик.

– И счастливого Нового года!

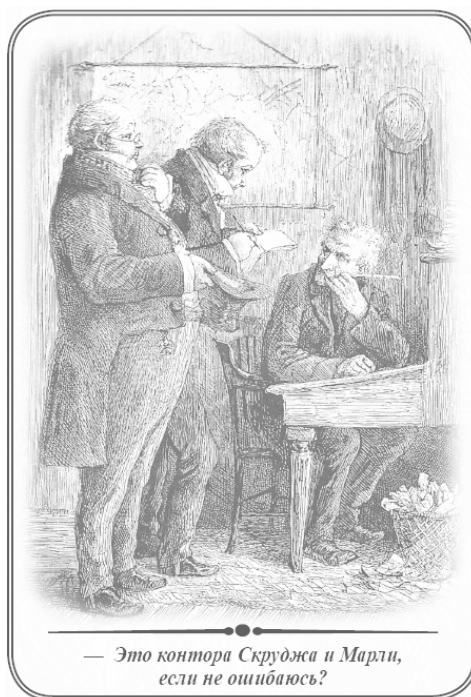
– Прощай!

Несмотря на такой суровый прием, племянник вышел из комнаты, не произнеся ни единого сердитого слова. У наружной двери он остановился поздравить с праздником конторщика, который, как ему ни было холодно, оказался теплее Скруджа, так как сердечно ответил на обращенное к нему приветствие.

– Вот еще другой такой же нашелся, – пробормотал Скрудж, до которого донесся разговор из каморки. – Мой конторщик, имеющий пятнадцать шиллингов в неделю да еще жену и детей, толкует о веселом празднике. Хоть в сумасшедший дом отправляй его.

Бедняга, проводив племянника Скруджа, впустил двух других людей. Это были представительные джентльмены приятной наружности. Сняв шляпы, они остановились в конторе. В руках у них были книги и бумаги. Они поклонились.

– Это контора Скруджа и Марли, если не ошибаюсь? – сказал один из господ, справляясь со своим листом. – Имею честь говорить с мистером Скруджем или с мистером Марли?



– Мистер Марли умер семь лет тому назад, – ответил Скрудж. – Сегодня ночью минет ровно семь лет со времени его смерти.

– Мы не сомневаемся, что его щедрость имеет достойного представителя в лице пережившего его товарища по фирме, – сказал джентльмен, подавая свои бумаги.

Он сказал правду: это были родные братья по духу. При страшном слове «щедрость» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и отстранил от себя бумаги.

– В эту праздничную пору года, мистер Скрудж, – сказал джентльмен, беря перо, – более, чем обыкновенно, желательно, чтобы мы немного позаботились о бедных и нуждающихся,

которым очень плохо приходится в настоящее время. Многие тысячи нуждаются в самом необходимом; сотни тысяч лишены самых обыкновенных удобств, милостивый государь.

– Разве нет тюрем? – спросил Скрудж.

– Тюрем много, – сказал джентльмен, кладя перо на место.

– А работные дома? – осведомился Скрудж. – Существуют они?

– Да, по-прежнему, – ответил джентльмен. – Хотелось бы, чтобы их больше не было.

– Стало быть, исправительные заведения и закон о бедных в полном ходу? – спросил Скрудж.

– В полнейшем ходу и то и другое, милостивый государь.

– Ага! А то я было испугался, слыша ваши первые слова; подумал, уж не случилось ли с этими учреждениями чего-нибудь, что заставило их прекратить свое действие, – сказал Скрудж. – Очень рад это слышать.

– Сознывая, что вряд ли эти суровые способы доставляют христианскую помощь духу и телу народа, – возразил джентльмен, – некоторые из нас взяли на себя заботу собрать сумму на покупку для бедняков пищи и топлива. Мы выбрали это время как такое, когда нужда особенно чувствуется, а изобилие услаждается. Что прикажете записать от вас?

– Ничего, – ответил Скрудж.

– Вы хотите остаться неизвестным?

– Я хочу, чтобы меня оставили в покое, – сказал Скрудж. – Если вы меня спрашиваете, чего я хочу, вот вам мой ответ. Я сам не веселюсь на празднике, и не могу доставлять возможности веселиться праздным людям. Я даю на поддержание учреждений, о которых упомянул; на них тратится немало, и у кого плохи обстоятельства, пусть туда идут!

– Многие не могут идти туда; многие предпочли бы умереть.

– Если им легче умереть, – сказал Скрудж, – пусть они лучше так и делают; меньше будет лишнего народа. Впрочем, извините меня, я этого не знаю.

– Но вы могли бы знать, – заметил один из посетителей.

– Это не мое дело, – ответил Скрудж. – Довольно для человека, если он понимает собственное дело и не мешает в чужие. Моего дела с меня достаточно. Прощайте, господа!

Ясно видя, что им не достигнуть здесь своей цели, господа удалились. Скрудж принялся за работу с лучшим мнением о самом себе и в лучшем расположении духа, нежели обыкновенно.

Между тем, туман и мрак сгустились до такой степени, что на улице появились люди с зажженными факелами, предлагавшие свои услуги идти перед лошадьми и указывать экипажам дорогу. Древняя колокольная, угрюмый старый колокол которой всегда лукаво поглядывал вниз на Скруджа из готического окна в стене, стала невидимой и отбивала свои часы и четверти где-то в облаках; звуки ее колокола так дрожали потом в воздухе, что казалось, будто в замерзшей голове ее зубы стучали друг об друга от холода. На главной улице, около угла подвоя, несколько работников поправляли газовые трубы: у разведенного ими в жаровне большого огня собралась кучка оборванцев, взрослых и мальчиков, которые, жмуря перед пламенем глаза, с наслаждением грели около него руки. Водопроводный кран, оставленный в одиночестве, не замедлил покрыться печально повисшими сосульками льда. Яркое освещение магазинов и лавок, где ветки и ягоды остролистника трещали от жара оконных ламп, отражалось красноватым отблеском на лицах прохожих. Даже лавочки торговцев живностью и овощами приняли какой-то праздничный, торжественный вид, столь мало свойственный делу продажи и наживы. Лорд-мэр в своем громадном, как крепость, дворце отдавал приказания своим бесчисленным поварам и дворецким, чтобы все было приготовлено к празднику, как подобает в хозяйстве лорда-мэра. Даже плюгавый портной, оштрафованный им в прошлый понедельник на пять шиллингов за появление в пьяном виде на улице, и тот, сидя на своем чердаке, мешал завтрашний пудинг, пока его худощавая жена вышла с ребенком купить мяса.

Тем временем мороз все крепчал, отчего туман стал еще гуще. Изможденный холодом и голодом мальчик остановился у двери Скруджа славить Христа и, нагнувшись к замочной скважине, запел было песню:

Пошли вам Бог здоровья, добрый барин!
Пусть будет радостен для вас великий праздник!

Но при первом же звуке его голоса Скрудж схватил линейку так порывисто, что певец пустился с испуга бежать, предоставив замочную щель туману и еще более сродному Скруджу морозу.



Наконец пришло время запирать контору. Нехотя слез Скрудж со своего табурет, и тем молча признал наступление этой неприятной для него необходимости. Конторщик только того и ждал; он моментально задул свою свечу и надел шляпу.

– Вы, полагаю, захотите воспользоваться целым завтрашним днем? – сухо спросил Скрудж.

– Да, если это удобно, сэр.

– Это совсем неудобно, – сказал Скрудж, – и нечестно. Если б я удержал полкроны из вашего жалованья, вы, наверное, сочли бы себя обиженным?

Конторщик слабо улынулся.

– Однако, – продолжал Скрудж, – вы не считаете меня обиженным, когда я даром плачу дневное жалованье?

Конторщик заметил, что это бывает только раз в году.

– Плохое извинение в обкрадывании чужого кармана каждое двадцать пятое декабря! – сказал Скрудж, застегивая до подбородка свое пальто. – Но, полагаю, вам нужен целый день. Зато на следующее утро будьте здесь как можно раньше!

Конторщик обещал исполнить приказание, и Скрудж вышел, бормоча что-то про себя. Контора была заперта в мгновение ока. Конторщик с болтавшимися ниже куртки концами своего белого шарфа (верхнего платья у него не было) раз двадцать прокатился по льду замерзшей

канавки позади целой вереницы ребятишек – так рад был он отпраздновать ночь на Рождество. Затем во всю прыть он побежал домой в Кэмден-таун играть в жмурки.

Скрудж съел свой скучный обед в своем обычном скучном трактире; затем, прочтя все газеты и проведя остаток вечера в рассматривании своей записной банкирской книжки, отправился домой. Он занимал помещение, принадлежавшее некогда его покойному компаньону. Это был ряд неприглядных комнат в большом, мрачном доме в глубине двора; этот дом был так не на месте, что иной мог подумать, что, будучи еще молодым домом, он забежал сюда, играя в прятки с другими домами, но, потеряв дорогу назад, остался здесь. Теперь это было довольно старое здание угрюмого вида, потому что никто, кроме Скруджа, в нем не жил, а другие комнаты все отдавались под конторы. На дворе стояла такая темнота, что даже Скрудж, знавший каждый камень, которым он был устлан, должен был идти ощупью. Морозный туман так густо навис над старою темною дверью дома, что казалось, будто гений погоды сидел в мрачном раздумье на его пороге.



Несомненно, что, кроме больших размеров, решительно ничего особенного не было в колотушке, висевшей у двери. Одинаково верно, что Скрудж, за все время пребывания своего в этом доме видал эту колотушку и утром, и вечером. К тому же у Скруджа то, что называется воображением, отсутствовало в одинаковой мере, как и у любого обитателя лондонского Сити. Не забудьте при этом, что Скрудж ни разу не подумал о Марли с тех пор, как при разговоре в конторе он упомянул о совершившейся семь лет тому назад его кончине. И пусть теперь кто-нибудь объяснит мне, если сможет, каким образом могло случиться, что Скрудж, вкладывая ключ в замок двери, увидал в колотушке, которая никакого непосредственного превращения не потерпела – не колотушку, а лицо Марли.

Лицо это не было покрыто непроницаемым мраком, окутывавшим другие бывшие на дворе предметы – нет, оно слегка светилось, как светятся гнилые раки в темном погребе. В нем не было выражения гнева или злобы, оно смотрело на Скруджа так, как всегда смотрел Марли, – подняв очки на лоб. Волосы стояли дыбом, как будто от дуновения воздуха; глаза,

хотя и совершенно открытые, были неподвижны. Вид этот при сине-багровом цвете кожи был ужасен, но этот ужас был как-то сам по себе, а не в лице.



Когда Скрудж пристальнее взгляделся в это явление, оно исчезло, и колотушка стала опять колотушкой.

Сказать, что он не был испуган, и что кровь его не испытала страшного ощущения, которому он был чужд с детства, — было бы неправдой. Но он снова взялся за ключ, решительно повернул его, вошел в дверь и зажег свечку.

Но он остановился на минуту в нерешительности, прежде чем затворил дверь, и сперва осторожно заглянул за нее, как бы отчасти ожидая быть испуганным при виде если не лица Марли, то косы его, торчащей в сторону сеней. Но сзади двери ничего не было, кроме винтов и гаек, на которых держалась колотушка. Он только произнес: «Фу! Фу!» — и захлопнул дверь с шумом.

Звук этот, как гром, раздался по всему дому. Казалось, каждая комната наверху, каждая бочка в подвале виноторговца внизу обладала своим особым подбором эхо. Скрудж был не из тех, которые боятся эхо. Он запер дверь, прошел через сени и стал всходить по лестнице, но медленно, поправляя свечу.

Рассказывают про старинные лестницы, будто по ним можно было въехать шестериком; а про эту лестницу можно подлинно сказать, что по ней легко можно поднять целую погребальную колесницу, да еще поставив ее поперек, чтобы дышло приходилось к перилам, а задние колеса к стене. Места для этого было бы вдоволь, да и еще осталось бы. По этой, может быть, причине Скруджу представлялось, что перед ним подвигаются в темноте погребальные дроги. Полдюжины газовых фонарей с улицы не осветили бы достаточно входа — так он был обширен; отсюда вам станет понятно, как мало света давала свеча Скруджа.

Скрудж шел себе да шел, нимало не беспокоясь; потемки недорого стоят, а Скрудж любил дешевизну. Однако, прежде чем запереть свою тяжелую дверь, он прошел по всем комнатам с целью убедиться, что все было в порядке. У него как раз настолько осталось воспоминания о лице Марли, чтобы пожелать исполнить эту предосторожность.

Гостиная, спальня, кладовая, – все как следует. Никого не оказалось ни под столом, ни под диваном; в камине маленький огонь; на полке камина приготовленные ложка и миска да небольшая кастрюля с кашей (Скрудж был немного простужен). Ничего не нашлось ни под кроватью, ни в шкафу, ни в его халате, висевшем в несколько подозрительном положении на стене. В кладовой все те же обычные предметы: старая решетка от камина, старые сапоги, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках и кочерга.

Вполне успокоившись, он запер дверь и при этом дважды повернул ключ, что не было в его обыкновении. Обезопасив себя таким образом от нечаянностей, он снял галстук, надел халат, туфли и ночной колпак и сел перед огнем есть свою кашу.

Не жаркий это был огонь, совсем не по такой холодной ночи. Ему пришлось сесть вплотную к камину и еще нагнуться, прежде чем он мог почувствовать небольшую теплоту от такого малого количества топлива. Камин был старинный, построен бог весть когда какими-нибудь голландскими купцами и выложен причудливыми голландскими изразцами, долженствовавшими изображать библейские сцены. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, савские царицы, небесные посланники, сходящие по воздуху на облаках, подобных пуховым перинам, Авраам, Вальтасар, апостолы, пускающиеся в море в масленках; сотни других фигур, которые могли бы привлечь к себе мысли Скруджа. Тем не менее, лицо Марли, умершего семь лет назад, являлось подобно жезлу пророка и поглощало все остальное. Если бы каждый изразец был гладкий и в состоянии отпечатлеть на своей поверхности какое-нибудь изображение из несвязных отрывков его мыслей, на каждом из них изобразилась бы голова старого Марли.

– Пустяки! – сказал Скрудж и стал ходить по комнате.

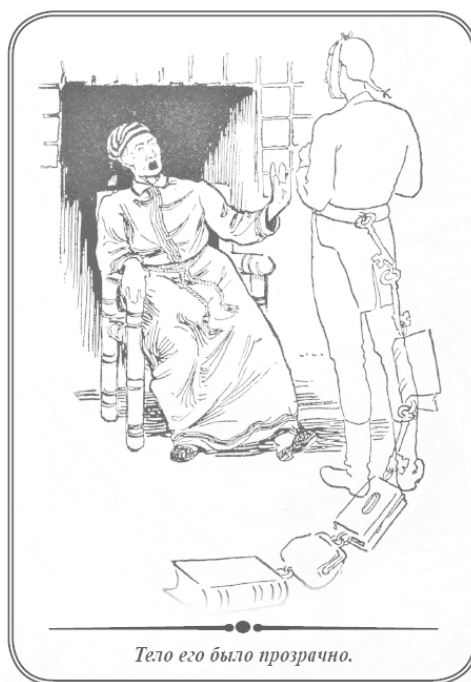
Пройдясь несколько раз, он сел опять. Когда он откинул голову на спинку кресла, взор его случайно остановился на колокольчике, давно заброшенном, который висел в комнате и для какой-то теперь уже забытой цели был проведен из комнаты, помещавшейся в самом верхнем этаже дома. К великому изумлению и странному, необъяснимому ужасу Скруджа, когда он смотрел на колокольчик, тот начал качаться. Он качался так слабо, что едва производил звук; но скоро он зазвонил громко, и ему начал вторить каждый колокольчик в доме.

Может быть, это продолжалось полминуты или минуту, но Скруджу показалось часом. Колокольчики замолчали так же, как и начали, – разом. Затем глубоко внизу послышался звенящий звук, как будто кто-нибудь тащил тяжелую цепь по бочкам в подвал виноторговца. Тут Скруджу пришли на память слышанные им когда-то рассказы, что в домах, где есть домовые, последние описываются влекущими цепи.

Вдруг дверь погреба с шумом растворилась, звук стал гораздо громче; вот он доносится с пола нижнего этажа, затем слышится на лестнице и, наконец, направляется прямо к двери.

– Все-таки это пустяки! – произнес Скрудж. – Не верю этому.

Однако цвет лица его изменился, когда, не останавливаясь, звук прошел сквозь тяжелую дверь и остановился перед ним в комнате. В эту минуту угасавшее в камине пламя вспыхнуло, как будто говоря: я знаю его! это дух Марли! – и снова упало.



Да, это было то самое лицо. Марли со своей косой, в своем жилете, узких обтянутых панталонах и сапогах; кисточки на них стояли дыбом, как и коса, полы кафтана и волосы на голове. Цепь, которую он носил с собою, охватывала его поясицу и отсюда свешивалась сзади вроде хвоста. Это была длинная цепь, составленная – Скрудж близко рассмотрел ее – из железных сундучков, ключей, висячих замков, конторских книг, деловых бумаг и тяжелых кошельков, обделанных сталью. Тело его было прозрачно, так что Скрудж, наблюдая за ним и смотря через его жилетку, мог видеть две задние пуговицы его кафтана.

Скрудж часто слышал от людей, что у Марли не было ничего внутри, но он никогда до сих пор не верил этому.

Да и теперь он не верил. Как он ни смотрел на призрак, как хорошо ни видел его стоящим пред собою, как ни чувствовал леденящий взор его мертвенно холодных глаз, как ни различал даже самую ткань сложенного платка, которым была подвязаны его голова и подбородок, и который он сначала не заметил, – он все-таки оставался неверующим и боролся с собственными чувствами.

– Ну, что же? – сказал колко и холодно, как всегда, Скрудж. – Что тебе от меня нужно?

– Многое! – раздался в ответ несомненный голос Марли.

– Кто ты?

– Спроси меня, кто я был.

– Это же был ты? – сказал Скрудж, повышая голос.

– При жизни я был твоим компаньоном, Яковом Марли.

– Можешь ли ты... Можешь ли ты сесть? – спросил Скрудж, сомнительно смотря на него.

– Могу.

– Так сядь.

Скрудж сделал этот вопрос, не зная, может ли дух, будучи таким прозрачным, сесть на стул, и тут же сообразил, что если бы это оказалось невозможным, вызвало бы необходимость довольно неприятных объяснений. Но привидение село по другую сторону камина, как будто было совершенно привычно к этому.

– Ты не веришь в меня? – заметил дух.

– Нет, не верю, – сказал Скрудж.

– Какого доказательства желал бы ты в моей действительности, сверх своих чувств?



– Я не знаю, – ответил Скрудж.

– Почему ты сомневаешься в своих чувствах?

– Потому, – сказал Скрудж, – что всякая безделица на них влияет. Желудок не в порядке, и они начинают обманывать. Может быть, ты не больше, как не переваренный кусок мяса, комочек горчицы, крошка сыра, частица недоварившейся картофелины. Что бы там ни было, но могильного в тебе очень мало.

Не в привычке Скруджа было отпускать остроты, тем более в эту минуту ему было не до шуток. На самом деле, если он теперь и старался острить, то лишь с целью отвлечь свое собственное внимание и подавить свой страх, так как голос привидения тревожил его до самого мозга костей.

Просидеть и одну минуту, глядя в упор в неподвижные стеклянные глаза призрака, было выше его сил. Что еще особенно наводило ужас, это какая-то сверхъестественная атмосфера, окружавшая привидение. Скрудж сам не мог ощущать ее, тем не менее, присутствие ее было несомненным, так как, несмотря на полную неподвижность духа, его волосы, фалды и кисточки, – все находилось в движении, как будто ими двигал горячий пар из печи.

– Видишь ты эту зубочистку? – спросил Скрудж, стараясь хотя бы на секунду отвлечь от себя стеклянный взор своего загробного посетителя.



– Вижу, – ответил дух.

– Ты не смотришь на нее, – сказал Скрудж.

– Не смотрю, но все-таки вижу, – отвечал дух.

– Так, – возразил Скрудж. – Стоит мне только проглотить ее, чтобы на весь остаток моей жизни подвергнуться преследованию целого легиона привидений; и все это будет делом собственных рук. Пустяки, повторяю тебе, пустяки!

При этих словах дух поднял страшный крик и с таким ужасающим звуком потряс своей цепью, что Скрудж крепко ухватился за кресло, боясь упасть в обморок. Но каков был его ужас, когда привидение сняло с головы свою повязку, как будто ему стало жарко от нее в комнате, и нижняя челюсть его упала на грудь.

Скрудж бросился на колена и закрыл лицо руками.

– Смилуйся, страшное видение! – произнес он. – За что ты меня мучаешь?

– Человек земных помыслов! – воскликнул дух. – Веришь ли ты в меня или нет?

– Верю, – сказал Скрудж. – Я должен верить. Но зачем духи ходят по земле, и для чего являются они ко мне?

– От всякого человека требуется, – ответило видение, – чтобы дух, живущий в нем, посещал своих ближних и ходил для этого повсюду; и если этот дух не странствует при жизни человека, то осуждается на странствование после смерти. Он обрекается скитанию по свету – о, увы, мне! – и должен быть свидетелем того, в чем участия принять уже не может, но мог бы, пока жил на земле, и тем достиг бы счастья!

Дух снова поднял крик, потрясая свою цепь и ломая себе руки.

– Ты в оковах, – сказал Скрудж дрожа. – Скажи почему?

– Я ношу цепь, которую сковал себе при жизни, – ответил дух. – Я готовил ее звено за звеном, ярд за ярдом; я опоясался ею по своей собственной воле и по собственной же свободной воле ношу ее. Разве рисунок ее не знаком тебе?

Скрудж дрожал все сильнее и сильнее.

– И если бы ты знал, – продолжал дух, – как тяжела и длинна цепь, которую ты сам носишь! Еще семь лет тому назад она была так же тяжела и длинна, как вот эта. А с тех пор ты над ней много потрудился. О, это тяжелая цепь!

Скрудж посмотрел на пол около себя, ожидая увидеть себя окруженным пятидесяти саженным железным канатом, однако ничего не увидал.

– Яков! – произнес он умоляющим тоном. – Старинный мой Яков Марли, поведай мне еще. Скажи мне что-нибудь утешительное, Яков.

– У меня нет утешения, – ответил дух. – Оно приходит из других сфер, Эбенезер Скрудж, и сообщается через иное посредство иного рода людям. И сказать тебе того, что бы хотел, я не могу. Лишь немного еще дозволено мне. Для меня нет ни остановки, ни покоя. Мой дух никогда не выходил за стены нашей конторы – заметь себе! – при жизни дух мой никогда не покидал тесных пределов нашей меняльной лавчонки, зато теперь передо мною бесконечный тягостный путь!

У Скруджа была привычка опускать руки в карманы брюк, когда он задумывался. Так сделал он и теперь, размышляя о словах духа, но не поднимал глаз и не вставал с колен.

– Ты, должно быть, очень медленно совершаешь свое путешествие, Яков, – заметил Скрудж деловым, хотя и почтительно-скромным тоном.

– Медленно! – повторил дух.

– Семь лет как умер, – удивлялся Скрудж, – и все еще странствуешь.

– Да, все время, – сказал дух, – не зная ни отдыха, ни покоя, и под непрерывной пыткой угрызения совести.

– Ты быстро путешествуешь? – спросил Скрудж.

– На крыльях ветра.

– Много ты успел пройти за семь лет.

При этих словах дух снова вскрикнул и так неистово загредел своею цепью среди мертвой тишины ночи, что полиция была бы вправе назвать это нарушением порядка.

– О, жалкий узник, скованный по рукам и по ногам! – воскликнуло привидение. – Не знать, что века непрестанного труда бессмертных творений должны отойти в вечность, прежде чем восполнится мера добра, на которое земной мир способен. Не знать, что всякая христианская душа, делающая добро в своей ограниченной области, какова бы она ни была, не может не видеть, что земная жизнь ее слишком коротка для ее обширных средств к добру и служению ближним. Не знать, что никакие века раскаяния не могут возратить того, что упущено при жизни! А я был таким! О, я был таким!

– Но ведь ты всегда был хорошим деловым человеком, Яков, – произнес Скрудж, который начал прилагать это к себе.

– Деловой! – воскликнул дух, опять ломая себе руки. – Заботы о человеческом роде, об общем благе были моим делом; любовь к ближнему, милосердие и благотворительность, – все это было моим делом. Занятия торговлей составляли лишь каплю в обширном океане моих трудов.

Он вытянул руку, держа свою цепь, как будто в ней была причина его бесплодных сокрушений, и с силою бросил ее опять на пол.

– В эту пору истекающего года, – сказал дух, – я страдаю больше всего. Зачем я, проходя между толпами своих ближних, смотрел все вниз и ни разу не поднял глаз на ту благословенную звезду, которая привела мудрецов к убогому жилищу?.. Разве не было бедных домов, к которым свет ее привел бы меня!

Скруджу страшно было это слышать, и он начал дрожать всем телом.

– Слушай! – воскликнул дух. – Мне остается мало времени.

– Я буду слушать, – сказал Скрудж. – Но не будь жесток ко мне! Говори проще, Яков! Прощу тебя!

– Как это происходит, что я являюсь перед тобою в видимом для тебя образе, того я не могу сказать тебе. Невидимо я сидел рядом с тобою в течение многих, очень многих дней.

Мысль об этом была не из приятных. Скрудж содрогнулся и вытер выступивший у него на лбу пот.

– Это одна из моих сильнейших очистительных жертв, – продолжал дух. – В эту ночь я здесь для того, чтобы предупредить тебя, что у тебя есть еще случай и надежда избежать моей участи. Тем и другим ты мне обязан, Эбенезер.

– Ты был мне всегда хорошим другом, – сказал Скрудж. – Благодарю тебя!

– К тебе явятся, – возразило видение, – три духа.

Лицо Скруджа сделалось при этих словах почти так же длинно, как и у его загробного посетителя.

– Это тот самый случай и надежда, о которых ты упомянул, Яков? – спросил он голосом виноватого.

– Да.

– Знаешь что? Мне бы этого не хотелось, – сказал Скрудж.

– Без их посещения, – ответил дух, – ты не можешь надеяться избежать пути, которым иду я. Ожидай первого завтра, когда пробьет час.

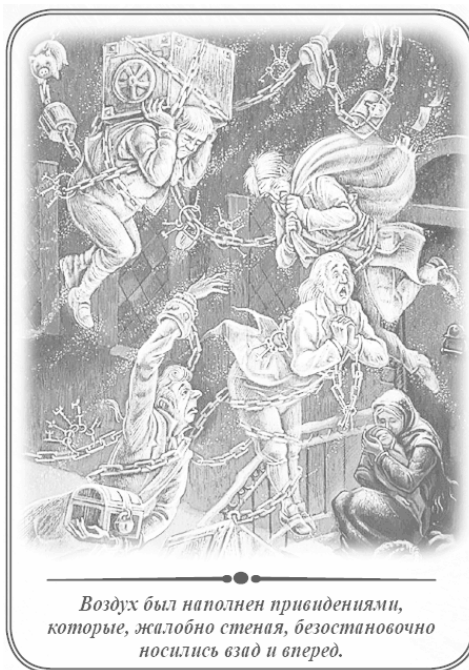
– Нельзя ли мне принять их всех сразу, и тем покончить с ними, Яков? – вставил Скрудж.

– Ожидай второго в следующую ночь и в тот же час. Третьего – еще через сутки, как только пробьет полночь. Меня больше не жди, но ради собственного блага не забудь того, что произошло между нами!

Сказав эти слова, привидение взяло со стола свою повязку и по-прежнему подвязало ею голову. Скрудж узнал об этом по легкому звуку, произведенному зубами привидения, когда повязкой челюсти были сдвинуты вместе. Он решился снова поднять глаза и увидел, что его сверхъестественный собеседник уже стоит перед ним, и цепь по-прежнему обвита вокруг его тела и руки.

Привидение стало отодвигаться от него задом, и с каждым его шагом окно понемногу открывалось, так что, когда дух дошел до него, оно было уже открыто настежь. Он знаком приказал Скруджу приблизиться, что тот и сделал. Когда они были на расстоянии двух шагов друг от друга, дух Марли поднял руку, предупреждая его не подходить ближе. Скрудж остановился, но не столько из повиновения, сколько пораженный удивлением и страхом, потому что в то мгновение, как привидение подняло руку, до слуха Скруджа донесся раздававшийся в воздухе неясный шум каких-то несвязных воплей раскаяния, невыразимо горестных стонов самообвинения. Привидение, прислушавшись на минуту, затянуло ту же жалобную песнь и исчезло во мраке холодной ночи.

Скрудж подошел к окну и с любопытством выглянул наружу.



Воздух был наполнен привидениями, которые, жалобно стеля, безостановочно носились взад и вперед. Каждое из них тащило цепь, похожую на цепь Марли; некоторые были скованы вместе, но ни одно не было свободно от уз. Многих Скрудж знал лично при их жизни. Особенно близко знаком он был когда-то с одним из них: это был старик в белом жилете; к ноге его был привязан громадный железный сундук; старик горько и громко плакал, что не в состоянии помочь бедной женщине с ребенком, которую видел внизу у порога одного дома. Горе всех их, очевидно, заключалось в том, что им хотелось бы вмешаться с доброю целью в людские дела, но возможность для этого миновала для них навсегда.

Сами ли эти существа поблекли в тумане или туман закутал их, Скрудж не мог сказать. Но с исчезновением их смолкли и их неземные голоса, и ночь стала опять такую же, какою она была, когда он шел домой.



Скрудж закрыл окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она оказалась на двойном запоре, он собственноручно запер ее, и задвижки были не тронуты. Он хотел опять сказать «пустяки», но удержался. Затем перенесенных им волнений, или вследствие дневных трудов, или мимолетно упавшего на него отблеска невидимого мира, или от печальной беседы с духом, или, наконец, за поздним часом ночи, – но он сильно нуждался в покое. Поэтому Скрудж, не раздеваясь, лег в постель и в ту же минуту заснул.

II Первый из трех духов

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за занавесок постели, он едва мог различить просвет окна от непрозрачных стен своей комнаты. Пока он силился проникнуть сквозь темноту своими зоркими, как у хорька, глазами, колокола соседней церкви пробили четыре четверти. Он стал прислушиваться, сколько они пробьют часов.

К великому его удивлению, тяжелый колокол переходил от шести к семи, от семи к восьми и так по порядку, пока пробил, наконец, двенадцать и – остановился. Двенадцать! Был третий час, когда он лег в постель. Часы врут. Должно быть, сосулька льда попала в их механизм. Неужели двенадцать часов!

Он нажал пружинку своего репетитора, чтобы узнать настоящий час. Репетитор быстро прозвонил двенадцать и смолк.

– Как? Не может быть, чтобы я проспал целый день и прихватил еще изрядную часть следующей ночи. Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь случилось с солнцем, и что теперь двенадцать часов дня? – сказал Скрудж.

Так как эта мысль не могла не встревожить его, то он кое-как выбрался из постели и ощупью добрался до окна. Ему пришлось рукавом халата протереть замерзшее стекло, прежде чем он мог увидеть что-нибудь, да и тогда почти ничего не было видно. Оказалось только, что по-прежнему стоял густой туман, и было очень холодно, на улице никакого шума, ни малейшей суеты; а это непременно бы случилось, если бы ночь нагрянула вдруг, среди белого дня, и завладела светом. Легко вздохнул Скрудж, убедившись, что с этой стороны тревога его была напрасна. А то представьте себе беспомощное положение человека: текст векселя гласит: «Через три дня по предъявлении заплатите Эбenezеру Скруджу или его приказу...» и т. д. А какие же тогда дни считать?

Скрудж снова улегся в постель и начал думать, думать и думать, но ни до чего не мог додуматься. Чем больше он думал, тем больше становился в тупик, и чем больше старался не думать, тем неотвязчивее были его мысли. Дух Марли решительно не давал ему покоя. Каждый раз, как он, после зрелого размышления, решал в себе, что все это был сон, ум его отпрядывал опять назад, подобно отпущенной пружине, к своему первому положению и представлял на решение все ту же задачу: сон это был или нет?

Скрудж пролежал в этом состоянии, пока часы пробили еще три четверти. Тогда он вдруг вспомнил слова Марли, что один из возвещенных им посетителей явится, когда колокол пробьет час. Он решил лежать с открытыми глазами, пока этот час не наступит. Если принять в соображение, что ему так же трудно было бы заснуть, как и взойти на небо, то это было, пожалуй, самое мудрое решение, на котором он мог остановиться.

Эта четверть тянулась так долго, что Скрудж не один раз приходил к убеждению, что незаметно для себя засыпал и не слышал боя. Наконец до его напряженного слуха донесся первый удар. «Дин-дон!»

– Четверть, – сказал Скрудж, прислушиваясь.

«Дин-дон!»

– Половина, – сказал Скрудж.

«Дин-дон!»

– Три четверти, – сосчитал Скрудж.

«Дин-дон!»

– Вот и час, – произнес Скрудж, торжествуя, – а ничего нет!

Он проговорил эти слова прежде, чем замер последний звук колокола, отличавшийся на этот раз каким-то особенно глубоким, глухим, печальным тоном. В комнате вдруг блеснул свет, и занавески его постели раздвинулись.

Заметьте: они были раздвинуты рукою; не те занавески, что приходились у него над головою, и не те, что были сзади, но именно та часть их, куда обращено было его лицо. Пораженный таким неожиданным явлением, Скрудж привскочил наполовину и очутился лицом к лицу с неземным посетителем, который их отодвинул. Он очутился к нему так же близко, как я к вам теперь.



Это была странная фигура – как будто ребенок, но в то же время похожий на старика. Смотреть на него приходилось сквозь какую-то сверхъестественную среду, благодаря которой фигура виднелась как бы вдалеке, и от расстояния размеры ее казались детскими. Волосы призрака свешивались ему на шею и спину и были старчески белы; но на лице не было ни морщинки, и самый нежный пушок покрывал его кожу. Руки были длины и мускулисты, как бы обличая необыкновенную силу. Ноги, очень изящно сложенные, были, как и верхние конечности, голы. Стан его одевала белая, как снег, туника, а талию охватывал восхитительно блестящий пояс. В руках он держал свежую ветку зеленого остролистника, зато в противоположность этой эмблеме зимы платье его было украшено летними цветами. Всего же замечательнее в нем было то, что с верхушки его головы выходил яркий луч света, которым все это и освещалось. Наверное, по причине этого света у него под мышкой вместо шапки был большой гасильник, который он надевал на себя в минуты своего затмения.

Но даже и не это еще оказалось самою странною особенностью призрака, когда Скрудж пристально всмотрелся в него. Верхом чудесного был пояс: он искрился и переливался то в одной, то в другой своей части; то, что светилось в одну минуту, было темно в другую, а вместе с ним то освещалась, то помрачалась и сама фигура видения; то у него одна рука, то одна нога, то вдруг как бы двадцать ног, или две ноги без головы, или одна голова без тела, так что нельзя было уловить очертания его отдельных частей, когда они вдруг быстро исчезали, едва успев осветиться. Потом все эти переливы внезапно пропадали, и призрак становился опять самим собою, ясным и лучезарным.

– Ты дух, появление которого было мне предсказано? – спросил Скрудж.

– Я.

Голос был приятный и нежный и настолько тихий, что как будто доносился издалека.

– Кто и что ты? – осведомился Скрудж.

– Я дух прошедшего Рождества.

– Давно прошедшего? – допытывался Скрудж, смотря на маленький рост призрака.

– Нет, твоего прошедшего.

Скруджу очень хотелось посмотреть на духа в шапке, и он попросил его накрыться. Вероятно, Скрудж и не сумел бы объяснить этого желания, если бы кто-нибудь спросил его.

– Как! – воскликнул дух. – Уже так скоро ты хочешь своими земными руками погасить свет, который я даю? Разве не довольно того, что ты принадлежишь к числу людей, чьи страсти создали эту шапку и заставляют меня в течение долгого ряда лет носить ее нахлобученной до бровей!

Скрудж почтительно отрекся от всякого намерения нанести духу обиду, а тем менее сознательно. Затем он смело спросил его, по какому делу он к нему явился.

– Ради твоего благополучия! – сказал дух.

Скрудж выразил свою благодарность, но не мог не подумать, что этой цели скорее соответствовала бы ночь ненарушимого покоя. Вероятно, дух узнал его мысль и сказал:

– Ну, так ради твоего исправления. Берегись!

Говоря это, он своею сильною рукою схватил руку Скруджа.

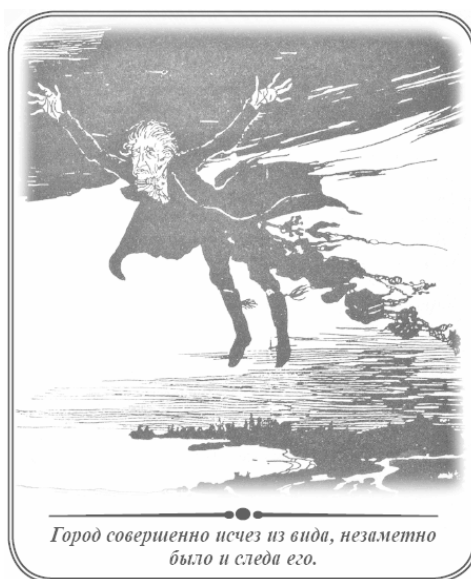
– Вставай и иди со мною!

Напрасно стал бы Скрудж представлять резоны против удобства путешествовать пешком в такую погоду и в такой час; тщетно бы он стал доказывать, что в постели тепло, а термометр показывает гораздо ниже нуля, что одет он очень легко: в туфлях, халате да ночном колпаке, и что ему не совсем здоровится. Но рука призрака, хотя и нежная, как у женщины, не допускала сопротивления. Скрудж встал, но, видя, что дух направляется к окну, с мольбою схватился за его платье

– Я смертный, – упрашивал он, – и могу упасть.

– Дай мне только коснуться тебя вот здесь, – сказал дух, кладя ему руку на сердце, – и тогда ты и больше этого вынесешь!

Едва были произнесены эти слова, как они прошли сквозь стену и очутились на открытой проселочной дороге, по обеим сторонам которой широко расстилались поля. Город совершенно исчез из вида, незаметно было и следа его. Вместе с ним пропали и темнота и туман, так как стоял ясный, холодный зимний день, и снег покрывал землю.



*Город совершенно исчез из вида, незаметно
было и следа его.*

– Бог мой! – воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь по сторонам. – Я родился здесь. Я был здесь мальчиком!

Дух кротко поглядел на него. Его нежное прикосновение, хотя оно было легко и кратковременно, еще живо отзывалось в ощущениях старика. Он почувствовал тысячи благоуханий, носившихся в воздухе, и каждое из них соединялось для него с тысячами мыслей, надежд, забот и радостей, давным-давно забытых!

– У тебя дрожат губы, – сказал дух. – А что это у тебя на щеке?

Скрудж с необычною для него дрожью в голосе невнятно ответил, что это родинка, и попросил духа вести его, куда он хочет.

– Ты помнишь эту дорогу? – спросил дух.

– Как не помнить! – отозвался Окрудж горячо. – Я бы мог пройти по ней с завязанными глазами!

– Странно, что ты столько лет о ней не вспомнил, – заметил дух. – Пойдем дальше.

Они пошли вдоль дороги. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Наконец, вдали стал виден небольшой городок с мостом, церковью и выющеюся, как лента, рекой. Навстречу им показалось несколько мохнатых пони, на которых ехали верхом мальчишки, перекликавшиеся с другими мальчиками, ехавшими в деревенских телегах и повозках, где кучерами были фермеры. Все эти мальчики были очень веселы и так громко переговаривались между собою, что крики их далеко разносились по широким полям, раскатываясь в свежем морозном воздухе.

– Это лишь тени былых вещей, – сказал дух. – Они не замечают нашего присутствия.

Веселые путники скоро поравнялись с ними, и тут Скрудж узнавал всех, называя каждого по имени. Отчего это ему так невыразимо приятно было видеть их? Отчего так блистал его холодный взор, так трепетало его сердце, когда они проезжали мимо? Отчего он полон был радости, слыша их взаимное приветствие с веселым праздником, когда они разъезжались при поворотах по разным дорогам, направляясь каждый под свою родную кровлю? Что значит веселое Рождество для Скруджа? Прочь с веселым Рождеством! Что доброго он видел от него когда-нибудь?

– Школа еще не совсем опустела, – сказал дух. – Там еще остался один ребенок, о котором забыли его друзья.

Скрудж сказал, что ему это известно, и вздохнул.

Они повернули с большой дороги в хорошо памятный ему переулок и скоро дошли до неприглядного здания из красного кирпича; на крыше его возвышался увенчанный флюгером купол, под которым висел колокол. Это был обширный дом, когда-то богатый, а теперь запущенный; его просторные комнаты были почти пусты, стены сыры и покрыты мохом, окна повывиты, двери покосились. В конюшнях бродили, кудахча, куры, а сараи и навесы поросли травой. Да и внутри дома не больше оставалось следов прежнего его состояния: когда они вошли в мрачные сени и заглянули чрез открытые двери в целый ряд комнат, то оказалось, что хотя они были велики, но холодны и очень бедно меблированы. В воздухе пахло гнилью; голо и безжизненно смотрело все кругом; вообще как-то чувствовалось, что здесь любили вставать при свечах и питаться впроголодь.

Дух и Скрудж направились через сени к двери, ведущей в заднюю половину дома. Дверь перед ними растворилась и открыла глазам их длинную, без всяких украшений, мрачную комнату, которая еще тоскливее казалась от расставленных в ней рядами скамеек и конторок. За одной из них, невдалеке от едва топившегося камина, сидел одинокий мальчик и читал книгу. И Скрудж сел на одну из скамеек и горько заплакал при виде этого бедного забытого ребенка, в котором он узнал себя.

Каждый едва уловимый звук, раздававшийся в доме – и возня мышей за стеной панелью, и капель наполовину оттаявшего желоба на заднем дворе, и легкий шум ветвей безлистного унылого тополя, и скрип двери в пустой кладовой, и слабое потрескивание огня – все отзывалось в сердце Скруджа смягчающим влиянием. Все свободнее и свободнее текли его слезы.

Дух дотронулся до его руки и указал ему на прежнего маленького Скруджа, углубившегося в свое чтение. Вдруг под окном явился какой-то человек в странной чужеземной одежде, но совсем как настоящий, живой человек, с топором за поясом и державший в поводу осла, нагруженного дровами.

– Ах, да это Али-Баба! – закричал Скрудж в восторге. – Это дорогой честный старик Али-Баба! Да-да, знаю! Один раз на Рождестве, когда тот покинутый ребенок оставался здесь совсем один, он пришел в первый раз совсем вот как сейчас. Бедный мальчик! И Валентин, – продолжал Скрудж, – и его дикий брат, Орсон, вон они идут! А как, бишь, зовут того, что спящим был спущен в своих панталонах у ворот Дамаска; разве ты не видишь его? А султанский конюх, которого гении поставили вверх ногами! Вон он на голове стоит! Поделом ему. Я очень рад. С какой стати ему жениться на принцессе!

Если бы кто-нибудь из деловых друзей Скруджа посмотрел на него в эту минуту, когда он, откинув всю серьезность своей натуры, так искренно увлекался подобными вещами, выражая свой восторг самым необыкновенным голосом, и смеясь и плача в одно и то же время, тот, наверное, не поверил бы собственным глазам.

– А вот и попугай! – воскликнул Скрудж. – Сам зеленый, а хвост желтый, и на голове точно салат вырос!.. Бедный Робин Крузо! – кричал он ему, когда тот возвращался домой, объехав весь остров. – Бедный Робин Крузо, где ты был, Робин Крузо? Человек подумал, что во сне это слышит; совсем нет. Это был попугай. Вон Пятница ищет спасения в бегстве, спеша к заливу! Гип-гип, ура!

Вдруг, с весьма чуждою его обычному характеру быстротою перехода, он, жалея своего прежнего «я», произнес:

– Бедный мальчик!

И опять заплакал.

– Хотелось бы... – проговорил Скрудж невнятно, опуская руку в карман и смотря около себя, вытерев себе глаза рукавом. – Но теперь уже поздно.

– В чем дело? – спросил дух.

– Ничего, – ответил Скрудж. – Ничего. Вчера какой-то бедный мальчик приходил ко мне Христа славить. Мне хотелось бы дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и махнул рукою, говоря:

– Посмотрим другое Рождество!

При этих словах прежний маленький Скрудж стал больше, и комната сделалась несколько темнее и грязнее. Панели растрескались; стекла в окнах полопались; штукатурка с потолка местами обвалилась, обнажив решетку из дранки. Как это совершилось, Скрудж так же мало знал, как и вы. Одно он только знал, что все это было верно, все это так и произошло когда-то на самом деле, что он опять был одинок здесь, когда все другие мальчишки уехали по домам веселиться на праздниках.

Только он не читал теперь, а ходил взад и вперед в отчаянии. Скрудж посмотрел на духа и, грустно покачивая головою, в тоскливом ожидании глядел на дверь.

Она отворилась, и в нее быстро вбежала девочка, гораздо моложе мальчика, и, обвив его шею руками и целуя, называла его: «милый, милый братец».

– Я за тобой приехала, милый братец! – сказала она, всплеснув своими тонкими ручонками и готовясь рассмеяться. – Домой, домой повезу тебя!

– Домой, Фанни? – переспросил мальчик.

– Да! – воскликнул ребенок, сияя от радости. – Домой совсем и навсегда. Отец стал теперь гораздо добрее; дома у нас как в раю! Он так ласково говорил со мною как-то вечером, когда я шла спать, что я не побоялась спросить его, можно ли тебе вернуться к нам, и он сказал: «Да, он вернется», и велел мне за тобою ехать. И ты будешь женщиной, и никогда уже больше сюда не вернешься. Но сначала мы вместе проведем все праздники и навеселимся досыта.



– Ты у меня совсем большая, Фанни! – сказал мальчик.

Она ударила в ладоши и, весело смеясь, старалась достать до его головы. Но так как была еще мала ростом, то только опять засмеялась и встала на цыпочки, чтобы обнять его. Затем она начала со свойственной детям настойчивостью тащить его к дверям, куда очень охотно он и пошел за нею.

Вдруг раздался страшный голос: «Снесите вниз сундук мастера Скруджа!» – и в сенях появился сам школьный учитель. Он посмотрел на мастера Скруджа с каким-то свирепым

снисхождением и, подав ему руку, привел его в состояние ужаса. Затем он повел обоих в свою холодную и сырую гостиную, где висевшие на стенах карты и расставленные по окнам глобусы от холода покрыты были точно инеем. Тут он достал графин с замечательно легким вином и кусок замечательно тяжелого пирога и начал угощать этим детей. В то же время велел своему тощему слуге вынести стаканчик чего-нибудь кучеру. Тот велел поблагодарить барина, сказав, впрочем, что если это такой же напиток, какой он пробовал прошлый раз, то лучше не надо. Так как за это время багаж мастера Скруджа оказался уже привязанным наверху экипажа, то дети очень охотно поспешили распрощаться с учителем, сели в повозку и весело покатались домой.

– Она была всегда очень нежного сложения, готовая увянуть от малейшего ветерка, – сказал дух. – Но какое любящее было у нее сердце!

– Твоя правда, – отозвался Скрудж. – Спаси меня Бог отвергать это.

– Она умерла уже замужем, – прибавил дух, – и, кажется, у нее были дети.

– Один только ребенок, – поправил Скрудж.

– Верно, – сказал дух. – Это твой племянник.

Скрудж почувствовал себя неловко и коротко ответил:

– Да.

Хотя и минуты не прошло еще, как они покинули школу, но успели уже очутиться в оживленной части какого-то города, где происходила обычная уличная суета, двигались взад и вперед прохожие, теснились, прокладывая себе дорогу, всевозможные экипажи и тяжелые фуры. По убранству лавок было очевидно, что и здесь справлялось Рождество. Был вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей одной конторы и спросил Скруджа, знакома ли она ему.

– Еще бы! – ответил он. – Ведь я здесь был в ученье!

Они вошли. При виде пожилого господина в большом парике, сидевшего за такой высокой конторкой, что если бы она только еще на вершок была повыше, то он ударился бы головой о потолок, Скрудж в сильном волнении воскликнул:

– Да ведь это старик Феззивиг! Это он, живой опять!

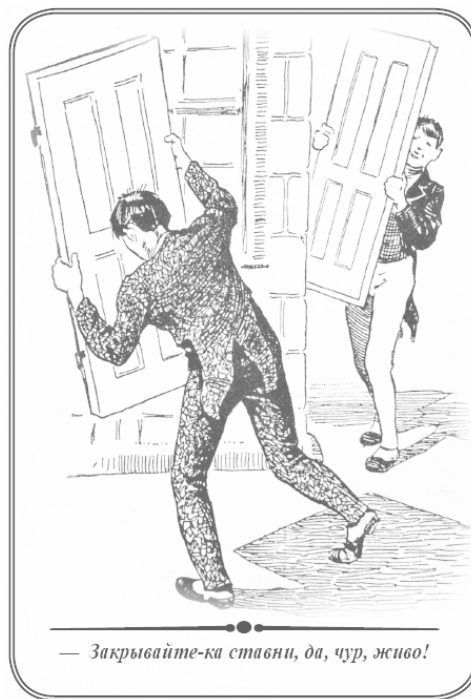
Старый Феззивиг положил перо и посмотрел на часы, которые показывали семь. Он потер руки, поправил свой широкий жилет и, как бы улыбаясь всем своим существом, приятным, жирным, веселым голосом крикнул:

– Эй, где вы там! Эбенезер! Дик!

Скрудж, теперь уже молодой человек, быстро вбежал в комнату вместе со своим товарищем, другим учеником.

– Так и есть, это Дик Вилькинс! – сказал Скрудж, обращаясь к духу. – Ах, Господи, он это, он! Как он был ко мне привязан, бедный милый Дик.

– Вот что, ребяташки, – сказал Феззивиг. – Довольно работать. Настал Рождественский вечер. Закрывайте-ка ставни, да, чур, живо! – вдруг воскликнул он, громко ударив в ладоши.



— Закрывайте-ка ставни, да, чур, живо!

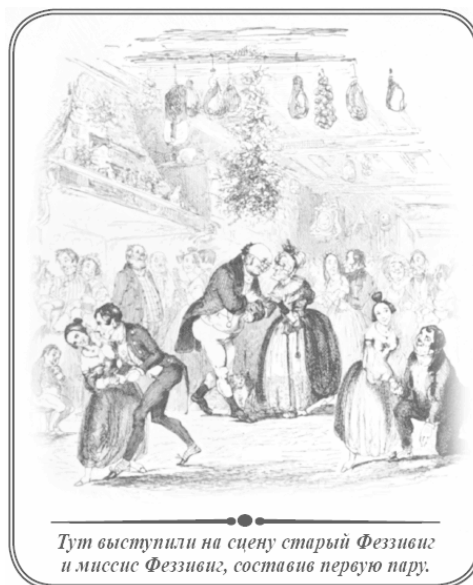
Вы бы не поверили, как дружно принялись они за работу. Раз, два, три – и молодцы были уже со ставнями на улице; четыре, пять, шесть – и они вдвинули их на место; семь, восемь, девять – и они наложили задвижки и закрепили их, и, прежде чем вы успели бы досчитать до двенадцати, они были уже опять в комнате, дыша как заморившиеся кони.

– Теперь, – воскликнул старый Феззивиг, удивительно ловко спрыгивая со своего высокого табурета, – убирайте здесь, ребятушки, убирайте, чтобы побольше было нам места. Живо, Дик! Веселей, Эбенезер!

Какое тут убирать! Чего бы они только ни убрали, когда за ними смотрел старый Феззивиг. В минуту все было сделано. Все, что можно было сдвинуть, было вытащено, будто оказалось навсегда излишним; пол выметен и вспыснут, лампы оправлены, в камин подкинута угля, и торговое помещение превратилось в приличную, теплую, сухую, ярко освещенную бальную залу.

Вот вошел скрипач с нотами и, расположившись на высокой конторке, начал жалобно настраивать свою скрипку. Вот вошла миссис Феззивиг, изображая собою одну широкую улыбку. Вошли три красивые и лучезарные девицы Феззивиг. Вошли шестеро вздыхавших по ним молодых людей. Вошли все молодые мужчины и женщины, бывшие при деле. Вошла горничная со своим двоюродным братом, пекарем. Вошла кухарка с близким другом своего брата, молочником. Явился и мальчик из лавки, что по ту сторону улицы, о котором рассказывали, будто хозяин плохо кормит его. Войдя в комнату, он старался спрятаться за девочкой из соседнего заведения, относительно которой было удостоверено, что хозяйка таскала ее за уши. Все явились один за другим; одни робко, другие смело, одни грациозно, другие неуклюже, одних как будто кто толкал, других точно тянули насильно. Но как бы то ни было, все пришли, все были налицо. Начались танцы. Сразу двадцать пар пошли под звуки скрипки, двигаясь то гусем все направо, то так же все налево, то на середину, то опять назад, проделывая целый ряд мудреных фигур. По окончании последней фигуры старик Феззивиг ударом в ладоши подал знак остановиться, и скрипач не замедлил жадно погрузить свое разгоряченное лицо в приготовленную для него кружку с портером. Но, вынырнув оттуда, он, вместо отдыха, когда никто еще и не собирался танцевать, вдруг запиликал снова, и с таким жаром, как будто прежний скрипач, как выбившийся окончательно из сил, был замертво отнесен домой на ставне, а это

был совсем свежий музыкант, решившийся во что бы то ни стало или затмить своего предшественника, или погибнуть.



Опять пошли танцы, за танцами – фанты, за фантами – снова танцы; затем подавался пирог, после пирога глинтвейн, за ними огромные части холодного мяса в двух видах, пирожки с коринкой и, наконец, обильное количество пива. Но самый эффектный момент вечера наступил после этих угощений, когда скрипач – лукавый был он мужчина и куда как тонко понимал свое дело – заиграл «Сэр Роджер ди Коверли». Тут выступили на сцене старый Феззивиг и миссис Феззивиг, составив первую пару. Нелегкое предстояло им дело в виду целых двадцати, если не больше, пар участников; с этим народом шутить было нельзя: уж никак не ходить они собирались, а танцевать, и танцевать, как следует.

Но, будь их вдвое, куда – вчетверо больше, старик, а также и миссис Феззивиг, не ударили бы в грязь лицом перед ними. Что ее касается, это была дама достойная своего кавалера во всех отношениях. А это ли не похвала? Как две луны мелькали икры Феззивига. Напрасно бы вы старались предугадать, что они изобразят собою в следующее мгновение. Когда старик с супругой проделали все должные фигуры, Феззивиг закончил танец, так ловко выкинув последнее колено, будто мигнул ногами в воздухе, и твердо, не качнувшись, опустился на пол.

Когда пробило одиннадцать часов, этот домашний бал кончился. Мистер и миссис Феззивиг заняли места по обе стороны двери и, подавая руку каждому из расхопившихся гостей, поздравляли их с праздником, желая весело провести его. Когда очередь дошла до двух учеников, хозяева и их приветствовали подобным же образом. Так постепенно смолкли веселые голоса, и мальчики были отпущены спать. Постели их помещались под прилавком в задней комнате конторы.

В течение всего этого времени Скрудж был как бы вне себя. Его сердце и душа переселились в его прежнее «я» и вместе с ним переживали все происходившее перед его глазами. Он все чувствовал, все вспоминал, всему радовался и находился в сильнейшем возбуждении. Только когда скрылись из вида довольные лица его прежнего «я» и его товарища Дика, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально на него смотрит, и свет на его голове горит особенно ярко.

– Немногое нужно, – сказал дух, – чтобы вызвать такое чувство благодарности у этих простоватых людей.

– Немногое! – отозвался Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к разговору обоих учеников, изливавших свою душу в похвалах Феззивигу, и потом сказал:

– Не правда ли? Ведь куда как немного истратил он ваших презренных денег, всего каких-нибудь три-четыре фунта. Неужели это большая сумма, чтоб он заслуживал подобной похвалы?!

– Не в том дело, – сказал Скрудж, возбужденный этим замечанием и говоря бессознательно языком своего прежнего, а не настоящего «я». – Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, сделать нашу службу легкой или тяжелой, удовольствием или трудной работой. Действительно, власть его заключается в словах и взглядах, в вещах столь легких и незначительных, что нет возможности собрать и сосчитать их. Но что из этого? Сообщаемое им счастье стоит целого состояния...

Он почувствовал на себе взгляд духа и остановился.

– Что с тобой? – спросил дух.

– Ничего особенного, – сказал Скрудж.

– Однако? – настаивал дух.

– Нет, – сказал Скрудж, – нет. Мне только хотелось бы иметь возможность сказать сейчас два слова своему конторщику. Вот и все.

При этих словах Скруджа его прежний «я» погасил лампы, и Скрудж очутился с духом снова на открытом воздухе.

– Мой срок истекает, – заметил дух. – Скорей!

Эти слова не были обращены ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого бы он мог видеть, но они произвели непосредственное действие. Скрудж снова увидел себя. Теперь он был старше, человеком в лучшей поре жизни. Лицо его еще не носило резких и грубых черт позднейших лет, но обнаруживало уже признаки забот и скупости. В беспокойном движении глаз сказывались инстинкты алчности и наживы; видно было, что эти страсти уже пустили корни в нем и вскоре обещали бросить на его взор тень быстро растущего от них дерева.

Он был не один, а сидел рядом с красивой девушкой, одетой в траур. В глазах ее виднелись слезы, а в них искрился свет, сиявший с головы духа прошедшего Рождества.

– Это неважно, – сказала она тихо. – Для тебя это безделица. Другой кумир заместил меня; и если он может послужить тебе в будущем радостью и утешением, которые я старалась бы доставить тебе, то у меня нет повода печалиться.

– Какой кумир заменил тебя? – возразил он.

– Золотой кумир.

– Вот вам людское беспристрастие! – сказал он. – Ни к чему мир так строго не относится, как к бедности, и в то же время ничто так сурово не осуждает, как стремление к богатству!

– Ты слишком боишься света, – кротко ответила она. – Все твои надежды поглощены одним – избежать повода к его горьким упрекам. Я была свидетельницей того, как твои более благородные стремления пропадали одно за другим, уступая свое место одной господствующей страсти – наживе. Не так ли?



– Что же из этого? – возразил он. – Что из того, что я настолько поумнел? К тебе я не переменялся.

Она покачала головою.

– Разве не так?

– Мы помолвлены давно. В то время мы оба были бедны и не скучали, в надежде при лучших обстоятельствах устроить наше внешнее счастье терпеливым трудом. Ты не тот теперь. Тогда ты был другим человеком.

– Я был мальчиком, – сказал он нетерпеливо.

– Твое собственное сердце говорит тебе, что ты не тот, что был, – возразила она. – Я не переменялась. То, что обещало нам счастье, когда у нас было одно сердце, превратилось в беду, когда наши стремления разошлись в разные стороны. Мне нечего говорить, как часто и как мучительно я об этом думала. Довольно того, что мною теперь все обдумано, и я могу освободить тебя.

– Разве я когда-нибудь искал разлуки?

– На словах – нет, никогда.

– Так в чем же ты это видишь?

– В перемене твоих наклонностей, твоего характера, в ином взгляде на жизнь, и преследовании в ней иной окончательной цели. Во всем, что придавало моей любви какое-нибудь значение или цену в твоих глазах. Если бы ничего этого между нами не было, – продолжала она, глядя на него кротко, но решительно, – скажи мне, остановил ли ты теперь на мне свой выбор и старался бы приобрести мое расположение?.. Наверное, нет.

Он, по-видимому, невольно соглашался со справедливостью этого предположения, но, подавив в себе голос совести, ответил:

– Ты этого не думаешь.

– И рада была бы думать иначе, если могла, – возразила она. – Богу известно, что, убедившись в подобной истине, я не могла не видеть, насколько она неотразима. Но, будь ты свободен сегодня, завтра, могу ли я поверить, чтобы ты избрал девушку-бесприданницу? Ты, который даже в интимной беседе с нею взвешиваешь все со стороны выгоды? Даже допустив, что ты изменил на минуту своему руководящему правилу и женился бы на такой девушке, разве не знаю я, что ты непременно бы в этом раскаялся и сожалел бы о своем поступке?.. Слишком

хорошо я это знаю, и потому освобождаю тебя от данного тобою слова. Я делаю это от чистого сердца ради любви к тому, каким ты был когда-то.

Он хотел заговорить, но она, отвернувшись от него, продолжала:

– Может быть, – воспоминания о прошлом несколько обнадеживают меня, – может быть, ты и будешь скорбеть об этом, но очень-очень недолго, и освободишься от этих воспоминаний с радостью, как от бесполезной мечты или сновидения, от которого приятно бывает проснуться. Итак, будь счастлив в своей новой жизни!

Она вышла, и они расстались.

– Дух, – воскликнул Скрудж, – хватит с меня! Сведи меня домой. Что тебе за удовольствие терзать меня?

– Еще одно видение, – ответил дух.

– Не надо! Не хочу больше ничего видеть! – умолял Скрудж.

Но безжалостный дух схватил его обеими руками и принудил наблюдать, что будет дальше.

Они очутились в другом месте и перед новой сценой. Это была не особенно большая или богатая комната, но уютно обставленная. Недалеко от камина сидела красивая молодая девушка, так похожая на только что виденную, что Скрудж принял ее за одну и ту же, пока не узнал виденную раньше в лице другой красивой женщины, теперь уже матери семейства, сидевшей против своей дочери. Шум в комнате стоял невообразимый. Там было столько детей, что Скрудж не мог при своем волнении сосчитать их. В полном противоречии со стадом, о котором говорится в одной поэме, здесь не то что сорок детей можно было счесть за одного, напротив, каждый в отдельности производил больше шума, чем все сорок человек вместе. Можете себе представить, что это была за суматоха. Никто, однако, ею не тяготился, напротив, мать и дочь весело смеялись, с удовольствием глядя на детей. Скоро девушка даже сама приняла участие в их играх, и порядком же ей досталось.

Но вот послышался стук в дверь, и вся шумная ватага опрометью бросилась к ней, увлекая с собою растрепанную, с измятым платьем, старшую сестру, и очутилась у входа как раз в то мгновение, когда в дверях появился отец в сопровождении человека, нагруженного рождественскими подарками. Радостным возгласам конца не было. Плохо пришлось бедному носильщику, когда нетерпеливые дети начали подставлять к нему стулья вместо лестницы, карабкаться на него самого, заглядывать к нему в карманы, тащить его за воротник, обшаривать и терзать его со всех сторон, добывая завернутые в желтую бумагу сокровища. И каким взрывом восторга сопровождалось вскрытие каждого пакета! Вдруг страшная весть, что грудной ребенок засунул себе в рот кукольную сковороду, причем, по всей вероятности, уже успел проглотить игрушечную индейку, изжаренную на деревянном противне! А потом всеобщее облегчение, когда тревога оказалась напрасной. Со всех сторон крики радости, благодарности, восторга! Трудно поддается описанию подобная сцена. Хорошо, что детей одного за другим увели спать наверх, где взволнованные голоса их постепенно смолкли.

Скрудж стал внимательнее прежнего наблюдать, когда хозяин дома, нежно обняв свою дочь, сел с нею и с ее матерью на свое обычное место у камина. Глаза Скруджа подернулись слезами при мысли, что подобное существо, такое же милое и столь много обещающее, могло бы называть его отцом и быть весенней отрадой в суровую зимнюю пору его жизни.

– Бэлла! – сказал муж, обращаясь с улыбкой к жене. – Я видел сегодня одного твоего старого друга.

– Кого же это?

– Угадай.

– Как могу я угадать? А впрочем, постой, – поспешила она прибавить, смеясь, как и он. – Мистера Скруджа?

– Верно. Я проходил мимо окон его конторы, и так как они не были закрыты, и внутри горела свеча, то я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на него. Говорят, компаньон его при смерти, и вот он сидит теперь один. Ведь у него никого нет, я думаю.

– Дух, – взмолился опять Скрудж надломленным голосом, – уведи меня отсюда!

– Я сказал тебе, что это тени былых вещей, – сказал дух, – не моя вина, что они таковы.

– Уведи меня! – настаивал Скрудж. – Мне этого не вынести.

Обернувшись в сторону духа и видя, что тот смотрит на него с лицом, в котором необъяснимым образом отражались отдельные черты всех показанных ему духом лиц, Скрудж старался высвободиться из его крепких рук.

– Отпусти меня! Сведи меня назад и покинь меня!

В этой борьбе, – если это только может назваться борьбой, где дух без всякого видимого напряжения со своей стороны не поддавался никаким усилиям своего противника, – Скрудж заметил, что свет его горит широко и ярко. Скрудж смутно объяснял себе, что именно в этом свете заключается сила духа, схватил шапку-гасильник и быстрым движением накрыл ею голову призрака.

Дух съехал под нею, так что гасильник покрыл его всего. Но хотя Скрудж давил на него изо всей силы, он не мог совершенно загасить свет, который стремился из-под гасильника и целым потоком разливался до полу.

Он чувствовал, что силы оставляют его, и одолевает непреодолимая дремота, что, кроме того, он находится в своей спальне. Он еще раз надавил шапку, и рука его опустилась в изнеможении. Едва успел он добраться до постели, как в то же мгновение крепко заснул.

III

Второй из трех духов

Проснувшись среди сильнейшего храпа и сев в постели, чтобы собраться с мыслями, Скрудж не имел случая узнать, что колокол готов опять пробить час. Он, однако, чувствовал, что пришел в сознание как раз к тому времени, когда ему нужно было принять второго из числа трех посетителей, обещанных Яковом Марли. Но, ощутив неприятный холод при мысли о том, которую из занавесок постели раздвинет этот второй посетитель, он собственноручно отодвинул их со всех сторон и, улегшись снова, стал зорко наблюдать вокруг постели. Он хотел окликнуть духа в самый момент его появления, совсем не желая быть застигнутым врасплох и испытать нервное потрясение.

Есть люди, которые ни над чем не задумываются; они любят похвастаться, что их ничем не удивишь и не испугаешь, начиная с игры в орлянку и до убийства человека. Нет сомнения, что между такими крайностями существует бесчисленное множество переходов. Я не берусь причислить Скруджа вполне к такого сорта людям и уверять вас, что он приготовился к очень многим разновидностям чудесных явлений, что ничто не могло особенно поразить его, начиная с младенца и кончая носорогом. Приготовившись почти ко всему, он никоим образом не думал, что не произойдет ничего особенного; потому, когда колокол пробил час, а никакого видения не появлялось, его начала пробирать сильная дрожь. Прошло пять минут, прошло десять минут, прошло четверть часа, а все никого не было. В течение всего этого времени он лежал в постели как раз в самом центре полосы красноватого света, упавшего на него в ту же минуту, как пробило час. Этот свет тревожил его гораздо больше, чем целая дюжина духов, так как он никак не мог понять, что бы это значило и откуда происходит. Ему даже приходило на мысль, не представляет ли он сам в эту минуту интересного случая внезапного самовозгорания. Напоследок, однако, он начал догадываться, что, по всей вероятности, источник этого света находился в соседней комнате, откуда, если проследить за ним, он, казалось, и выходил.

Когда эта мысль вполне овладела его умом, он потихоньку встал и, шмыгая туфлями, подошел к двери.



В ту минуту, когда рука Скруджа схватилась за ручку двери, странный голос назвал его по имени, приглашая войти. Он повиновался.

Это, несомненно, была его собственная комната, только подвергшаяся удивительной перемене. Стены и потолок были так густо завешаны свежей зеленью, что представляли собою настоящую аллею, испещренную повсюду ярко блестящими ягодами. Кудрявые листья остролистника, омелы и плюща отражали свет, подобно множеству маленьких зеркалец; в камине был разведен такой огонь, какого это каменное олицетворение домашнего очага никогда не видало ни во время Скруджа, ни во время Марли. На полу, образуя нечто вроде трона, были нагромождены индейки, гуси, всякого рода дичь и живность, окорока, большие части мяса, связки зелени, пироги с коринкой, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие груши, громадные паштеты и кипящие чаши с пуншем, который своим благовонным паром, как туманом, наполнял всю комнату. Наверху всей этой груды сидел в свободной позе веселый гигант, на которого любо было посмотреть; в его руке был яркий факел, своею формою напоминавший рог изобилия; гений держал его высоко над головой, освещая Скруджу дорогу.



– Взойди! – воскликнул дух. – Взойди и узнай меня поближе, человек!

Скрудж вошел робко и поникнул головою перед духом. Это не был прежний упрямый Скрудж, так что, хотя глаза гиганта светились ласкою и добротою, он не мог смотреть в них.

– Я дух настоящего праздника Рождества Христова, – сказал гигант. – Посмотри на меня!

Скрудж почтительно последовал этому приглашению. Гигант был одет в простой темно-зеленый плащ, или мантию, опушенную мехом. Эта одежда так свободно держалась на его фигуре, что открывала его могучую грудь. Ноги его, видневшиеся из-под широких складок мантии, были также голы, а на голове простой венок из остролистника, украшенный кое-где ледяными сосульками. Темно-каштановые волосы ниспадали на плечи длинными вольными прядями; взор его был блестящ, лицо открыто, движения свободны. На поясе висели старые, покрытые ржавчиной ножны, в которых меча, однако, не было.

– Ты никогда еще не видел подобных мне?! – воскликнул дух.

– Никогда, – ответил Скрудж.

– Никогда не ходил с младшими членами моей семьи? Я ведь очень молод, потому разумею моих старших братьев, родившихся в последние годы, – продолжал призрак.

– Кажется, нет, – сказал Скрудж. – Боюсь, что этого со мною не случилось. А много было у тебя братьев, дух?

– Больше тысячи восьмисот, – отвечал гигант.

– О, как дорого стоит содержать такую огромную семью! – молвил Скрудж.

При этих словах призрак поднялся со своего места.

– Дух, – произнес покорно Скрудж, – веди меня, куда хочешь. Вчера ночью я странствовал поневоле и вынес из этого путешествия урок, которого больше не забуду. Если и ты имеешь научить меня чему-нибудь, дай мне воспользоваться и твоим уроком.

– Коснись моей одежды!

Скрудж крепко за нее ухватился.

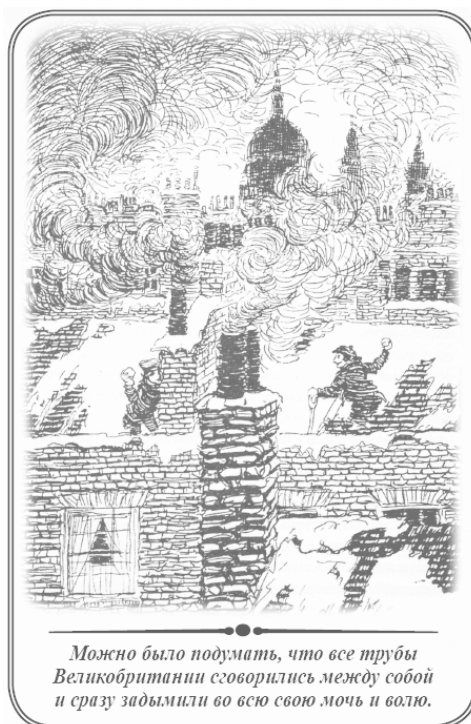
Вдруг остролистник, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, свинина, ветчина, зелень, устрицы, пудинги, фрукты и пунш – все мгновенно исчезло. Исчезла и комната с камином, и красноватый свет, и самый час ночи, и наши путники очутились на улицах города в

рождественское утро. Со всех сторон слышалась своеобразная музыка скребков и заступов, которыми люди счищали снег и лед с тротуаров против своих жилищ и с крыш домов (холод стоял изрядный).

Детям любо было смотреть, как глыбы снега, падая сверху, разлетались в воздухе на множество блестящих снежинок. Стены домов и особенно впадины окон казались просто черными от яркой белизны снежного покрова, лежавшего на крышах. Зато снег, покрывавший землю, успел уже приобрести желтоватый оттенок; множество двигавшихся во всех направлениях экипажей и фур изборозило его местами оттаявшую поверхность глубокими колеями, казавшимися цепью бесчисленных миниатюрных каналов. Небо было пасмурно, и взор не проникал до конца даже самых коротких улиц, завешенных полу замерзшим, полу оттаявшим туманом; более тяжелые части этого тумана спускались в виде дождя.

Можно было подумать, что все трубы Великобритании сговорились между собою и сразу задымили во всю свою мочь и волю. Несмотря, однако, на такую невеселую погоду, все кругом было в каком-то радостном настроении, как не бывает и в самый яркий солнечный день. Весело шла работа людей, сбрасывавших снег с крыш домов; как-то особенно были одушевлены их лица; шутливо перекликались они из-за парапетов, обмениваясь по временам снежком – металлическим снарядом, более невинным, чем многие словесные шутки – и от души смеясь, когда ком попадал в цель, и еще более радуясь, когда он пролетал мимо. Лавки торговцев живностью были открыты лишь наполовину, зато настежь стояли двери у фруктовщиков. Большие пузатые корзины с каштанами выставлялись из них подобно широким жилетам пожилых гуляк, прислонившихся к дверям и выставивших напоказ свою грозящую ударом тучность. Румяные испанские луковицы, своим дородством напоминавшие испанских монахов, лукаво поглядывали с полок на проходящих красавиц и с притворною скромностью вскидывали в то же время глаза на подвешенный к потолку остролистник. Тут же красовались цветущие пирамиды из груш и яблок, а на самом виду спускались с потолка кисти винограда. Благодушный хозяин нарочно подвесил их на таком месте – пускай, мол, у прохожих слюнки текут на здоровье. Груды крупных лесных орехов, пушистых, загорелых, напоминали своим особым ароматом осенние прогулки в лесу, когда нога приятно погружалась в мягкий слой засохшей листвы; норфолкские печеные яблоки оттеняли темнотою своей сморщенной кожи яркую желтизну своих соседей, апельсинов и лимонов; аппетитно-сочные, так и просились они на послеобеденный десерт. Даже золотые и серебряные рыбки в вазах, расставленных между этими отборными плодами, и те, несмотря на свою холодную кровь, казалось, знали, что происходит нечто особенное; все они с любопытством сновали по своему водному миру и как-то необыкновенно, хотя и бесстрастно волновались. Еще праздничнее смотрели колониальные магазины, если заглянуть через их полузакрытые окна. Весело звенели здесь беспрестанно опускавшиеся на прилавок чашки весов; порывисто шумя, развертывалась со своей катушки бечева; ловко, точно рукою фокусника, пододвигались к ней все новые и новые плетенки, не поспевавшие вмещать бесчисленные покупки. Смесь ароматов чая и кофе приятно раздражала обоняние. Разбегались глаза при виде редкой величины изюма, небывалой белизны миндалин, отборных палочек корицы и разных пряностей. Цукаты были так обильно пропитаны сахаром, что могли довести до обморока самого хладнокровного зрителя, если он устоял против соблазна отведать тут же разложенных мясистых и сочных винных ягод и скромно глядевшего из своих украшенных ящичков французского чернослива. Нужно было видеть нетерпеливую в ожидании праздника суетливость покупателей. Как угорелые, торопились они исполнить свои покупки, сталкивались друг с другом в дверях, зацепляясь корзинами; выбежав из лавки, многие снова возвращались в нее взять забытые второпях покупки, делали много других подобных ошибок, ни на минуту не теряя, однако, своего праздничного настроения. Сам торговец и его приказчики смотрели такими свежими и бодрыми молодцами, что ярко вычищенные медные сер-

дечки, которыми застегивалась сзади их фартуки, можно было принять за их собственные сердца, выставленные напоказ всем и каждому.



Но вот с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви, и на улицах появились толпы богомольцев в своих лучших нарядах и с самыми радостными лицами. В то же время из всех переулков, безымянных тупиков и закоулков потянулся бесчисленный люд, несший к пекарям свои обеды. Видно было, что дух интересовался этими любителями попить, так как, поместившись со Скруджем в дверях одной пекарни, он приподнимал крышку с их ноши и кропил на их обеды из своего факела. Это был какой-то необыкновенный факел. Когда раз-другой случилось, что носильщики обедов обменивались несколькими сердитыми словами, он проливал на них несколько капель из своего факела, и мгновенно возвращалось к людям их доброе расположение духа. «Стыдно ссориться в такой праздник», – тут же говорили они.

Вот замолкли колокола, и пекарни закрылись; но как будто все еще носился призрак этих обедов, и продолжение их стряпни виднелось на оттаявшем пятне сырости над каждой печью пекарни; даже мостовые перед ними дымились, будто кипели сами камни.

– Нет ли какой-нибудь особой силы в той влаге, которую ты кропишь из своего факела? – спросил Скрудж.

– Как же. Это моя собственная сила.

– И на всякий сегодняшний обед оказывает она свое действие? – спросил Скрудж.

– На всякий, если он предлагается от доброго сердца, а в особенности на обед бедняка.

– Почему же в особенности на обед бедняка?

– Потому что он больше в ней нуждается.

Они, по-прежнему оставаясь невидимыми, направились далее в предместье города. Чудесный спутник Скруджа отличался удивительной способностью (которую Скрудж заметил, когда они были с ним у пекарей) приспособляться, несмотря на свой гигантский рост, ко всякому месту: под низкой крышей он помещался так же непринужденно и свободно, как и в высокой зале.

Может быть, он повиновался побуждению своей доброй, великодушной природы и своему расположению ко всем бедным людям, направившись прямо к конторщику Скруджа. Он на самом деле пошел туда, а с ним и Сирудж, держась за его платье. Перед входом дух, улыбаясь, остановился, чтобы окропить из своего факела жилище Боба Крэтчита. Подумайте только! Боб получал всего пятнадцать шиллингов в неделю, а дух настоящего Рождества благословлял его скромное помещение!

Вот поднялась со своего места миссис Крэтчит, жена Крэтчита, одетая бедно в дважды вывороченное платье, зато в уборе из лент; недорого они стоят и для шести пенсов очень приличны. При помощи Белинды Крэтчит, своей второй дочери, тоже в ленточном уборе, она стала накрывать на стол, тогда как молодой Питер Крэтчит, запустив вилку в кастрюлю, наблюдал, как варился картофель; чувствуя, что концы необъятных воротничков его манишки (личная собственность отца, уступленная сыну и наследнику в честь великого праздника) попадали ему в рот, он гордился своим изысканным нарядом и предвкушал удовольствие показать свое белье в фешенебельном парке. Вот двое младших Крэтчитов, мальчик и девочка, ворвались в комнату, крича, что у пекаря понюхали гуся и признали его за своего. Увлечшись заманчивой мечтой о соусе из шалфея с луком, дети принялись плясать вокруг стола, превознося до небес своего старшего брата, который (без гордости, хотя воротнички буквально душили его) раздувал огонь, пока, наконец, ленивые картофелины не застучали громко в крышку кастрюли, прося выпустить их наружу и облупить.

– Однако куда же это пропал твой отец, – сказала миссис Крэтчит, – и брат твой Тим? Да и Марта в прошлое Рождество пришла получасом раньше!

– А вот вам, матушка, и Марта! – послышался голос девушки, показавшейся в эту минуту в дверях.

– Мама, вот Марта! – закричали оба маленькие Крэтчиты. – Ура! Какой у нас гусь, Марта!

– Что это, милая моя, как ты поздно! – сказала мистрис Крэтчит, осыпая свою дочь поцелуями и в то же время спеша снимать с нее шаль и шляпку.

– Нужно было много работы окончить, – отвечала девушка, – а нынче утром пришлось убираться.

– Ну, ничего, хотя поздно, да пришла! – сказала мать. – Садись-ка к огню, моя милая, да погрейся!

– Нет-нет! Вон папа идет! – закричали маленькие, всюду поспевавшие Крэтчиты. – Спрячься, Марта, спрячься!

Марта спряталась, и в комнату вошел отец Боб, с шеи которого, по крайней мере, на три фута свешивался развязавшийся и болтавшийся перед ним шарф; его поношенное платье было тщательно заштопано и вычищено по такому торжественному случаю; на плечах он держал сына Тима. Увы, бедняжка был калека и носил костыль!

– А где же Марта? – спросил Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

– Не пришла, – ответила мать.

– Не пришла? – переспросил Боб, и голос его сразу упал. Он еще во весь дух бежал домой, изображая лошадь для Тимоши, и вдруг «не пришла» в такой праздник.

Марта, не желая дольше расстраивать отца хотя бы и в шутку, вышла из-за дверцы шкафа и бросилась в его объятия; двое же маленьких Крэтчитов подхватили Тима и унесли его в прачечную послушать, как там в котле кипит пудинг.

– Ну, как вел себя Тим? – спросила миссис Крэтчит, посмеявшись над доверчивостью Боба, когда тот вдоволь нацеловался с дочерью.

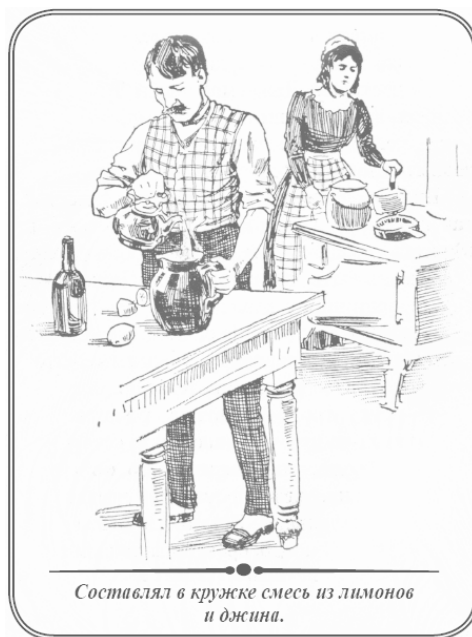


– Как золото, да еще лучше, – отвечал отец. – Сидя один, он, должно быть, все размышляет про себя и подчас додумывается до удивительнейших вещей. Когда мы шли домой, он сказал мне, что, вероятно, люди видели его в церкви, так как он был калека, и им, должно быть, приятно было в праздник Рождества Христова вспомнить о том, кто исцелял хромым и давал зрение слепым.

Голос Боба задрожал при этих словах и задрожал еще более, когда он сказал, что Тим стал крепче и бодрее.

В это время послышался слабый стук костыля по полу, и Тим вернулся в сопровождении сестры и брата, которые усадили его на его обычный стул рядом с камином. Пока Боб, засучив манжеты – бедняга полагал, что они могут еще более загрязниться – составлял в кружке смесь из лимонов и джина и, старательно растерев, поставил ее погреть на полку камина, молодой Крэтчит вместе с двумя вездесущими маленькими Крэтчитами отправился добывать гуся, с которым они скоро и вернулись в торжественной процессии.

Тут произошел такой шум, что можно было подумать, будто гусь самая редкостная птица в мире, некий феномен в перьях, перед которым черный лебедь очень обыкновенная птица. Да в этом доме почти так и было на самом деле. Миссис Крэтчит спешила разогреть раньше приготовленную подливку; Питер с невероятной силой разминал картофель; мисс Белинда подслащивала яблочный соус; Марта вытирала горячие тарелки. Отец посадил Тима рядом с собою в уголке у стола; двое младших Крэтчитов поставили для всех стулья, не забывая и себя, и, поместившись дозорными на своих постях, засунули в рот свои ложки из боязни вскрикнуть от нетерпения, прежде чем дойдет до них очередь. Наконец блюда были поданы и прочитана молитва. Наступила мертвая тишина, когда миссис Крэтчит, лукаво поглядев на лезвие ножа, приготовилась погрузить его в грудь гуся; но лишь только она надрезала птицу и из нее хлынула начинка, как по всему столу пронесся шепот восторга, и даже маленький Тим ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голосом прокричал «ура».



Никогда еще не бывало подобного гуся. Боб даже выразил сомнение, чтобы когда-нибудь подавался такой гусь. Его нежность и сочность, его размеры и дешевизна были предметом всеобщего удивления. С прибавкою яблочного соуса и мятого картофеля его вполне хватило на обед всему семейству, так что миссис Крэтчит, увидев на одной из тарелок крошечную косточку, заметила, что и того-то не могли доесть. Все были сыты, в особенности младшие Крэтчиты, вымазавшиеся начинкой до самых бровей. Затем, когда мисс Белинда переменила тарелки, миссис Крэтчит вышла из комнаты, чтобы принести пудинг; она пошла одна: при ее нервном возбуждении свидетели были бы для нее невыносимы.

А ну, как он не дошел, как следует? Что если он развалится, когда его станут опрокидывать? Ну, а если случился такой грех, что кто-нибудь перелез через стену с заднего двора да украл его, пока они тут пировали над гусем? При одной мысли об этом кровь застыла у молодых Крэтчитов. Каких только ужасов они себе не воображали.

Ага! Вот поднялся пар столбом, значит, пудинг вынут из кастрюли. Пошел запах точно от мокрого белья! Это от салфетки. Наконец, запахло как в трактире! Это уже сам пудинг. Через полминуты показалась и миссис Крэтчит: раскрасневшаяся, но с горделивой улыбкой и с пудингом, как пестрая бомба, твердым и крепким, усеянным бледными огоньками горящего спирта, и с веткой остролистника, воткнутой в верхушку в виде рождественской эмблемы.

О, как превосходен был пудинг! Боб Крэтчит потихоньку высказал, что, на его взгляд, это был самый крупный успех, достигнутый миссис Крэтчит со времени их свадьбы. Миссис Крэтчит призналась, что теперь у нее гора с плеч свалилась, а то она очень побаивалась, достаточно ли было муки. Каждый что-нибудь высказывал по этому поводу, но никто не сказал и не подумал, что пудинг был мал для большой семьи. Это было бы грубой ересью. Любой из членов семьи покраснел бы даже от намека в этом смысле.



Наконец, обед кончился; скатерть убрали со стола, подмели очаг и оправили огонь. Когда смесь в кружке была испробована и найдена превосходной, на стол были поданы яблоки и апельсины, а в огонь брошен полный совок каштанов. Тогда вся семья разместилась кружком перед камином; рядом с отцом поставили стеклянный семейный сервиз: два больших стакана и объемистую чашку без ручки.

В этой посуде перелитый из кружки горячий напиток помещался так же удобно, как и в золотых бокалах. Боб с довольным видом разливал его, пока каштаны с треском поджаривались на огне.

Затем Боб поднял стакан и произнес:

– Поздравляю вас всех, мои милые, с радостным праздником Рождества Христова. Да хранит нас Бог!

Вся семья дружно ответила на это приветствие.



– Да благословит Бог каждого из нас! – крикнул Тим последним.

Он сидел совсем рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб взял его маленькую худую ручку в свою, как бы боясь лишиться своего дорогого ребенка.

– Дух! – сказал Скрудж с участием, которого никогда еще не ощущал до сих пор. – Скажи мне, останется ли жив Тим?

– Я вижу незанятый стул в том бедном уголке, – отвечал дух, – и костыль без хозяина, бережно хранимый семьей. Если эти тени не будут изменены будущим – ребенок умрет.

– Нет-нет! – сказал Скрудж. – О, нет, добрый дух! Скажи, что он будет жив.

– Если эти тени не изменятся будущим, ни один из моих сородичей не найдет его здесь, – возразил дух. – Да и что тебе в том? Если ему нужно умереть, тем лучше, меньше будет лишних людей.

Скрудж понурил голову, услышав повторенные духом свои собственные слова, и им овладело чувство раскаяния и печали.

– Человек! – произнес дух. – Если у тебя в груди человеческое сердце, а не алмаз, воздержись от неуместных слов, пока не узнаешь, что лишнее, и где оно. Тебе ли решать, кому жить, кому умирать? Ведь, может быть, в глазах Неба ты гораздо недостойнее для жизни, чем миллионы детей этих бедняков. О, Боже! Ничтожный червь, взобравшийся на травку, не считает за оставшимися внизу своими голодными братьями одинаковых с собою прав на жизнь!

Скрудж преклонился перед укоризной духа и, дрожа всем телом, опустил глаза в землю. Но быстро поднял голову, услышав свое имя.

– Предлагаю вам теперь выпить за здоровье мистера Скруджа, виновника нашего пира, – произнес Боб.

– Хорош виновник пира! – воскликнула миссис Крэтчит, краснея. – Жаль, что его здесь нет, я бы дала ему себя знать, в другой раз не захотел бы.

– Полно, моя милая, – заметил Боб, – при детях-то, да и в такой праздник.

– Хорош праздник, – продолжала она, – когда предлагают пить за здоровье такого отвратительного скряги, жестокого бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Точно ты сам этого не знаешь, Роберт! Тебе, бедняге, это лучше всех известно.

– Ведь нынче Рождество Христово, – ответил Боб.

– Хорошо, я готова выпить за его здоровье, но только не ради его самого, а ради тебя и ради великого праздника. Многие ему лета! С праздником его и наступающим Новым годом! То-то, думаю я, будет он счастлив и весел.

За нею тост повторили дети. Это было их первым действием, где сердце их не участвовало. Тим выпил последним и еще равнодушнее прочих, ибо Скрудж был в глазах этой семьи каким-то людоедом, чудовищем. Упоминание его имени бросило черную тень на все маленькое общество, и эта тень минут пять не могла рассеяться.

Когда, наконец, она исчезла, веселое настроение их удесятерилось. Боб Крэтчит сообщил, что у него имелось в виду место для Питера, которое, если удастся получить его, будет приносить целых пять с половиною шиллингов в неделю. Оба младшие Крэтчита разразились неудержимым смехом, представляя себе, как Питер будет деловым человеком, Сам же Питер глубокомысленно смотрел из-за своих воротничков на огонь, как будто рассуждая про себя, какое он предпочтет себе сделать платье, когда будет обладать таким несметным доходом. Марта, бывшая в ученье у модистки, рассказала им потом, какая у нее была работа, и как по случаю праздника намеревалась завтра выспаться; как несколько дней тому назад она видела графиню и лорда, и как этот лорд был почти так же высок ростом, как Питер. Последний при этих словах еще дальше выправил свои воротнички, так что из-за них едва видно было его самого. Между тем, каштаны и кружка ходили взад и вперед по рукам. Немного спустя Тим

запел песенку про покинутого ребенка, как он шел зимою по снежной дороге. Хотя и слабый жалкий голосок был у малютки, а спел он очень недурно.

Ничего выдающегося семья эта не представляла. Лицом они все были некрасивы, одеты и обуты плохо, и Питеру не в диковинку было заглядывать в лавку закладчика. Тем не менее, они были счастливы, довольны друг другом и праздником. Когда пришло время духу и Скруджу покинуть это жилище, и образ семьи стал бледнеть, Скрудж до последней минуты не спускал глаз с этих людей и особенно с Тима.

Стало темнеть, и пошел густой снег. Когда Скрудж и дух шли вдоль улиц, взорам их представлялось отовсюду светившееся яркое пламя печей и каминов. Здесь, видимо, готовились к обеду, там кучка детей выбегала из дома навстречу своей замужней сестры, своих братьев, дядюшек, тетюшек. Там опять на опущенных шторах виднелись силуэты уже собравшихся гостей, а здесь группа хорошеньких барышень в меховых шубках и теплых сапожках быстро направлялась к соседнему дому, тараторя все сразу, и не слушая друг друга.

При виде такого множества людей, идущих в гости, вы бы пришли в недоумение, кто же в таком случае оставался дома принимать всех этих посетителей и растапливать в ожидании их свои каминны.



О, как торжествовал спутник Скруджа при виде всего этого! Как широко раскрывалась его могучая грудь, как свободно протягивалась его сильная рука, распространяя искреннее и невинное веселье повсюду вокруг себя. Даже фонарщик, видимо торопившийся в гости, так как был одет по-праздничному и бегом спешил от фонаря к фонарю поскорее разбросать по темным улицам убогие пятнышки света, – и тот громко рассмеялся, поравнявшись с духом.

Вдруг, ни словом не предупредив Скруджа, дух перенес его на пустынную, болотистую местность, где нагромождены были высокие кучи необделанного камня, представляя собою какое-то кладбище великанов. Кругом, между замерзших луж воды, виднелись только мох, да вереск, да клочья какой-то грубой, жесткой травы.

Заходящее солнце оставило на небосклоне огненно-красную полосу, которая резко, как бы мигнув, осветила на минуту эту дикую пустыню, а затем, хмурясь и хмурясь, исчезла в глубоком мраке ночи.

– Что это за место? – спросил Скрудж.

– Здесь живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, – отвечал дух. – Но и они меня знают. Вот, смотри!

Из окна какой-то хижины показался огонек, и они быстро двинулись туда. Пройдя сквозь сложенную из камней и грязи стену, они увидели веселое общество, собравшееся вокруг яркого огня, – старый-престарый мужчина и такая же женщина, их дети, внуки и правнуки, все разряженные по-праздничному. Старик голосом, едва заглушавшим вой гулявшего за стенами хижины ветра, пел им рождественскую песню. Это была очень старинная песня, которую он певал еще мальчиком; от времени до времени ему подпевали хором остальные, и каждый раз,

как те возвышали голоса, громче и веселее начинал петь и старик; как только замолкали они, и его голос раздавался слабее.

Дух не стал медлить здесь, но, велев Скруджу ухватиться за свое платье, понесся с ним над болотом, но – куда?

Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж к ужасу своему увидел, что берег, в виде страшных громад утесов, уже позади их; уже оглушает его рев волнующегося моря, которое клокочет и беснуется, будто хочет подмыть самые основы суши.

На уединенной, полупогруженной в воду скале, на расстоянии около мили от берега стоял одинокий маяк. Целые кучи водорослей облепляли его основание, а буревестники – такие же сыны ветра, как водоросли дети волн – взлетали и опускались вокруг него, подобно волнам, над которыми они носились.

Но даже и здесь двое сторожей развели огонь, бросавший сквозь узкое окошко тонкий луч света на темное море. Дружески протянув через стол свои мозолистые руки, державшие по стакану грога, они поздравляли друг друга с праздником; и один из них, который был постарше, с заглубелым от бурь и непогод, как мачта старого корабля, лицом, затаил громкую, что сама буря, песню.

Снова понесся дух над черным бушующим морем, стремясь все дальше и дальше, пока, очутившись вдали от всякого берега, они не опустились на корабль. Они становились и рядом с рулевым, и позади часового, и подле офицеров, державших вахту. Подобно темным призракам стояли эти люди каждый на своем посту, но каждый из них или напевал про себя какую-нибудь рождественскую песенку, или думал какую-либо рождественскую думу, или шепотом говорил своему товарищу об одном из прошлых праздников и соединенных с ним надеждах или воспоминаниях о родине. И у всякого из бывших на корабле, спящего или бодрствующего, хорошего или дурного – у всех находилось в этот день более доброе, чем обыкновенно, слово. Все так или иначе, больше или меньше, отличали торжественное значение этого дня; вспоминали тех, о ком и в далекой разлуке они заботились, зная, что и те, в свою очередь, вспоминают о них.

Велико было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к вою ветра и размышляя о том, как страшно должно быть плыть во тьме над неизведанной пучиной, таящей в себе глубокие, как сама смерть, тайны – когда, занятый такими мыслями, он вдруг услышал веселый смех. Но Скрудж еще более удивился, узнав, что это был смех его племянника, что сам он очутился в сухой, ярко освещенной комнате, и что рядом с ним стоял улыбающийся дух, одобрительно-ласково смотревший на племянника Скруджа.

– Ха-ха! – смеялся племянник Скруджа. – Ха-ха-ха!

Если вам по какому-нибудь невероятному случаю пришлось познакомиться с человеком, который бы смеялся увлекательнее племянника Скруджа, могу вас только об одном просить – познакомить меня с ним, и я буду весьма рад этому знакомству.

Вполне справедлив тот порядок вещей, по которому, при заразительности болезней и печали, на свете нет ничего заразительнее смеха и веселого расположения духа. Когда племянник Скруджа смеялся так, что держался за бока, раскачиваясь головою и выделявая лицом всевозможные гримасы, племянница Скруджа по мужу хохотала так же искренно, как и он, а вслед за ними хохотала и вся их дружеская компания.

– Ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

– Ну, право же он сказал, что Рождество – это пустяки! Да он и впрямь так думает! – кричал племянник.

– Тем больше ему должно быть стыдно, Фридрих! – с негодованием сказала племянница. Женщины ничего не делают наполовину. Они ко всему относятся серьезно.

Она была очень-очень красива. Наивное, как бы удивленное личико, пара самых лучезарных глаз, которые вам когда-либо встречались, маленький розовый ротик, как будто создан-

ный для поцелуев, что, впрочем, несомненно и было; несколько пленительных ямочек вокруг подбородка придавали ей особенную прелесть, когда она смеялась.

– Что он чудак, – сказал племянник, – так это верно, и не так приветлив, бы мог быть. Но несправедливость его сама себя наказывает, и я ничего против него не имею.

– Он, конечно, очень богат, Фридрих, – заметила племянница. – По крайней мере, ты мне так рассказывал.

– Что нам до этого, милая! – сказал племянник. – Да и ему нет пользы от его богатства. Никакого добра он из него не делает, и на себя ничего не тратит. Разве, чего доброго, утешается мыслью, что когда-нибудь нас наградит им.

– Нет, не терплю я его, – заметила племянница.

То же мнение высказали ее сестры и все остальные дамы и барышни.

– А я так жалею его, – сказал племянник. – Если бы и захотел, и тогда, кажется, не рассердился бы на него. Кто терпит от его странностей? Всегда он сам. Представилось ему теперь, что он нас не любит, и вот он не хочет прийти к нам обедать. А что из этого? Невелика для него потеря...

– Напротив, мне кажется, что он лишает себя очень хорошего обеда, – перебила мужа племянница.

То же сказал каждый из гостей, а они могли быть компетентными судьями, так как только что встали из-за обеда, и теперь, расположившись вокруг камина, занимались десертом.

– Очень рад это слышать, – сказал племянник Скруджа, – потому что не очень-то доверяю этим молодым хозяйкам. Как ваше мнение, Топпер?

Топпер отвечал, что холостяк – это жалкий отбросок, который не имеет права высказываться об этом предмете. При этом одна из сестриц покраснела – не та, у которой были розы в голове, а другая, толстуха, что в кружевной косынке.

– Продолжай, Фридрих, – сказала племянница Скруджа, ударяя в ладоши. – Он всегда так: начнет говорить и не кончит.

Племянник Скруджа снова закатился смехом, и так как невозможно было им не заразиться, хотя сестрица толстуха и пыталась воспротивиться этому при помощи ароматического уксуса, то все единодушно последовали примеру хозяина.

– Я только хотел сказать, – заговорил он, – что вследствие его нелюбви к нам и нежелания повеселиться с нами, он, думаю, теряет несколько приятных минут, которые бы не принесли ему вреда. Я уверен, что он лишается более приятных собеседников, чем каких может найти в своих собственных мыслях, в своей затхлой конторе или в своих пыльных комнатах. Я намерен каждый год доставлять ему такой же случай, будет ли это ему нравиться или нет, потому что мне жаль его. Пускай смеется над Рождеством, но наконец станет же он лучше о нем думать, если я из года в год весело буду являться к нему и говорить: как ваше здоровье, дядюшка Скрудж? Если этим я добьюсь того, что он оставит пятьдесят фунтов своему бедному конторщику, и то хорошо. И мне кажется, что я вчера тронул его.

Теперь уж за ними была очередь рассмеяться, когда он сказал, что растрогал Скруджа. Но, по доброте своего сердца, он не смущался этим смехом – только бы смеялись. Чтобы подогреть веселость гостей, он начал потчевать их вином.

Потом все занялись музыкой. Это была музыкальная семья и, что касается пения, они были мастера своего дела, в чем могу вас уверить, а в особенности Топпер, который басил исправно, несколько притом не надуваясь и не краснея в лице. Племянница Скруджа недурно играла на арфе; между прочим, она сыграла маленькую, очень простую по мотиву песенку, которую хорошо знал ребенок, приезжавший когда-то в школу за Скруджем. Когда раздались звуки этой песенки, Скруджу она пришла на память; он становился все мягче и мягче и думал, что если бы прислушивался к ней почаще в течение долгих лет, то мог бы достигнуть радостей в своей жизни своими собственными руками.

Но не весь вечер был посвящен ими музыке. Потом они стали играть в фанты. Хорошо иногда быть детьми, особенно в праздники Рождества. Сначала, впрочем, затеялась игра в жмурки – это уж само собой разумеется. И я столько же верю в действительную слепоту Топпера, сколько в то, что глаза у него были в сапогах. Я полагаю, что все дело было заранее решено между ним и племянником Скруджа, и что духу настоящего Рождества это было известно. Тот способ, каким Топпер ловил толстую сестрицу в кружевной косынке, был прямой насмешкой над человеческой доверчивостью. Роняя то ту, то другую вещь, прыгая через стулья, натываясь на рояль, запутываясь в драпировках, он неизменно устремлялся вслед за нею. Он всегда знал, где была толстая сестрица, и никого другого не хотел ловить. Когда некоторые нарочно поддавались ему, он делал вид, как будто хочет схватить вас, чему бы вы, конечно, не поверили, и вдруг бросался от вас в сторону толстой сестрицы. Она не раз кричала, что это нехорошо, неправильно. Но когда он, наконец, поймал ее, когда, несмотря на все ее уловки и хитрости, он загнал ее в угол, из которого уже нельзя было спастись, – тогда поведение его стало окончательно невозможным. Под предлогом сомнения, она ли это, он уверял, что ему необходимо дотронуться до ее головного убора, а для окончательного удостоверения ее личности, он принужден обследовать одно колечко на ее пальце и ее шейную цепочку. Не правда ли, разве не чудовищно так вести себя? По этому предмету она, вероятно, и высказывала ему свое мнение, когда водить пришлось другому, а они вели какую-то таинственную беседу за занавеской.



Племянница Скруджа не принимала участия в жмурках, ее усадили на кресло в уютном уголке, так что Скрудж с духом очутились рядом с нею. Зато она участвовала в фантах, а потом и в игре «как, когда и где», причем к тайному удовольствию мужа совсем забила своих сестер, хотя и те были очень острые барышни, как Топпер мог бы сообщить вам. Общество состояло человек из двадцати, и все они, и старые, и молодые, играли. Играл и Скрудж; вполне участвуя во всем происходившем перед ним, он совсем забыл, что они не могли слышать его голоса, а потому иногда совершенно громко произносил свой ответ на предложенный вопрос и очень часто отвечал удачно.

Дух был очень доволен, видя его в таком настроении, и так одобрительно смотрел на него, что он, как мальчик, стал просить его остаться здесь, пока гости не разъедутся. Но дух сказал, что этого нельзя сделать.

– Вот новая игра, – упрашивал Скрудж. – Только полчасика, дух, пожалуйста!

Это была игра под названием «да и нет», в которой племянник Скруджа должен был что-нибудь задумать, а остальные должны были отгадывать. Он только отвечал «да» или «нет» на

их вопросы. А они градом сыпались на него: что он думает о животном, о гадком животном, о диком животном, которое ворчит и хрюкает, а иногда разговаривает, и живет в Лондоне, и ходит по улицам, и за деньги не показывается, и ни с кем не водится, не живет в зверинце, не убивается для продажи, ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, с которым обращались к нему, племянник разражался новым раскатом смеха. Наконец, его довели до того, что он принужден был вскочить с дивана и затопать ногами. Тут толстая сестрица, придя в такое же состояние неудержимой веселости, прокричала:

– Я отгадала! Я знаю, кто это! Знаю, знаю!

– Ну, кто? – спросил Фридрих.

– Ваш дядя Скру-у-дж.

Она действительно отгадала. Последовало всеобщее удивление, хотя некоторые и говорили, что на вопрос «не медведь ли?» следовало сказать «да», так как отрицательного ответа было достаточно, чтобы отвлечь их мысли от Скруджа, как бы близко они к нему ни были.

– Право, он доставил нам много удовольствия, – сказал Фридрих, – и было бы неблагодарностью не выпить за его здоровье. Вот кстати и стакан с глинтвейном. За здоровье дядюшки Скруджа!

– Хорошо! За здоровье дяди Скруджа! – было ему ответом.

– Каков бы он ни был, желаю старику веселых праздников и счастливого Нового года! – произнес племянник. – Он не принял бы от меня этого приветствия, но Бог с ним. Итак, за здоровье дяди Скруджа!

Дядя Скрудж незаметно так развеселился, ему стало так легко и приятно на сердце, что он готов был ответить тостом не подозревавшему о его присутствии обществу и поблагодарить речью, если бы дух дал ему время. Но вся сцена исчезла в одно мгновение при последнем слове племянника. Скрудж и дух снова очутились в пути.

Много мест обошли они, многое видели и, в какой дом ни заходили, всюду приносили счастье. Дух становился у постелей больных, и они утешались и веселились. Являлся он к живущим на чужбине, и к ним придвигалась родина. Посещал удрученных жизненной борьбой, и к бедным возвращались терпение и надежда, и они забывали, что они бедны. В богадельнях, в больницах, в тюрьмах, во всех приютах нищеты, куда суетный человек, в силу своей ничтожной, быстро преходящей власти, не преграждал путь духу, повсюду он оставлял благословение и наставлял Скруджа в своих правилах.

Это была длинная ночь, если только одна ночь. Скрудж сомневался в этом, так как все рождественские праздники представлялись сжатыми в пространстве времени, которое они провели вместе с духом. Другая странность заключалась в том, что, тогда как Скрудж оставался неизменившимся в своей наружности, дух становился все старше и старше. Скрудж еще раньше заметил в нем эту перемену, но ничего не говорил до того времени, когда они, покинув одну детскую вечеринку, очутились на открытом месте. Здесь Скрудж заметил, что у духа волосы поседели.

– Разве так коротка жизнь духов? – спросил он.

– Моя жизнь на земном шаре очень коротка, – ответил дух. – Сегодня ночью ей конец.

– Сегодня ночью! – воскликнул Скрудж.

– Да, сегодня в полночь! Чу, время близко!

В эту минуту на башне пробило три четверти двенадцатого.

– Прости меня, если я не имею права об этом спрашивать, – сказал Скрудж, пристально смотря на платье духа, – но я вижу, как что-то странное, не принадлежащее тебе, выглядывает из-под твоей полы. Что это – нога или лапа с когтями?

– По тому, сколько на ней мяса, ее, пожалуй, вернее назвать лапой с когтями, – был грустный ответ духа. – Смотри сюда.

Из-под широких складок его одежды вышло двое детей, жалких, отвратительных, ужасных, несчастных. Они опустились на колена у его ног и ухватились за край его одежды.

– Смотри, смотри сюда, человек, смотри! – воскликнул дух.



Это были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, с диким, как у волка, взглядом, но в то же время покорные.

Там, где благодатная юность должна была бы округлить черты и придать им самые свежие свои краски, жесткая, морщинистая как у старика рука, казалось, ощипала, скрутила и изорвала их в лоскутья. Где бы царить ангелам – оттуда угрожающе, дико выглядывали дьяволы. Ни на какой степени изменения, упадка, или извращения человечества, среди всех тайн непостижимого творения, нет и наполовину столь страшных чудовищ.

Скрудж в ужасе отшатнулся назад. Считая их, должно быть, за детей духа, он хотел сказать, что это прелестные дети, но слова замерли у него на языке, отказываясь быть участниками такой колоссальной лжи.

– Дух, твои они? – только и мог он произнести.

– Это человеческие дети, – сказал дух, глядя на них. – Они хватаются за меня с жалобой на своих отцов. Этот мальчик – Невежество. Эта девочка – Нужда. Берегись их обоих, но больше всего остерегайся мальчика, ибо на лбу его я читаю приговор Судьбы, если только написанное не будет изглажено. Не признавайте его! – воскликнул дух, простирая руку по направлению к городу. – Злословьте тех, кто говорит вам об этом! Допускайте его ради ваших партийных целей и усугубляйте зло! И ждите конца!

– Разве у них нет опоры, нет приюта? – спросил Скрудж.

– А разве нет тюрем? – сказал дух, обращаясь к нему с последним своим словом. – Разве нет рабочих домов?

Колокол пробил полночь.

Скрудж стал искать глазами духа, но его не было видно. Как только замер последний звук колокола, он вспомнил предсказание Марли и, подняв глаза, увидел окутанный с головы до ног таинственный призрак, который, как туман по земле, медленно к нему приближался.

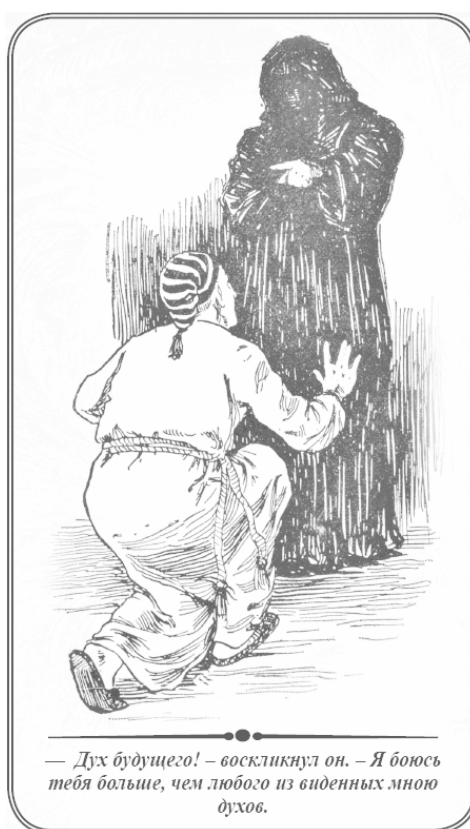
IV

Последний из духов

Призрак подвигался тихо, торжественно, молча. Когда он приблизился, Скрудж упал на колени, потому что в самой атмосфере, через которую подвигался этот дух, он, казалось, распространял таинственный мрак.

Он был закутан в широкую черную одежду, скрывавшую его голову, лицо и стан, оставляя на виду одну только протянутую вперед руку. Не будь этого, трудно было бы отличить его фигуру от ночи и выделить ее из окружавшего ее мрака.

Очутившись рядом с ним, Скрудж чувствовал только, что он высок и строен, и что таинственное присутствие призрака наполняет его неизъяснимым ужасом. Больше он ничего не знал, так как призрак не говорил и не двигался.



— Дух будущего! — воскликнул он. — Я боюсь тебя больше, чем любого из виденных мною духов.

— Передо мною дух будущих рождественских праздников? — произнес Скрудж.

Дух не отвечал, но указал рукою на землю.

— Ты хочешь показать мне тени вещей еще не бывших, но имеющих совершиться в будущем? — продолжал Скрудж. — Не так ли?

Верхняя часть одежды собралась на мгновение в складки, как будто дух наклонил голову вместо ответа.

Хотя и привыкнув за это время к обществу духов, Скрудж так сильно боялся этого молчаливого образа, что ноги дрожали под ним, и ему казалось, что он едва может стоять. Дух оставался пока неподвижным, как бы наблюдая за Скруджем и давая ему время прийти в себя.

Но Скруджу от этого было еще хуже. Необъяснимый ужас охватил его при мысли, что за таинственным покровом скрывались глаза, пристально устремленные на него, тогда как он,

как ни напрягал своего зрения, мог видеть только протянутую вперед руку и большую черную массу.

– Дух будущего! – воскликнул он. – Я боюсь тебя больше, чем любого из виденных мною духов. Но зная, что цель твоя сделать мне добро, и так как я надеюсь жить, чтобы стать другим, лучшим человеком, нежели я был, то я готов оставаться в твоём обществе и делаю это с чувством благодарности. Ты не будешь говорить со мною?

Ответа не последовало, только рука указывала вперед.

– Веди! – сказал Скрудж. – Веди! Ночь быстро исчезает, а это драгоценное для меня время. Я знаю. Веди, дух!

Призрак стал двигаться так же, как приближался. Скрудж следовал за ним в тени его одежды, которая, как он думал, несла его.

Казалось, не они входили в город, а город как бы сам вырастал вокруг них. Но вот они в самом центре его, на бирже, среди купцов; некоторые из них торопливо переходили с места на место, другие разговаривали группами, посматривая на свои часы и глубокомысленно играя своими большими золотыми цепочками. Одним словом, перед глазами наших путников повторилась картина, к которой так привык Скрудж, часто посещая биржу.

Дух остановился подле одной кучки деловых людей. Увидев, что рука указывала на них, Скрудж подошел послушать их разговор.

– Нет, – сказал один из них, высокий, толстый господин с огромным подбородком, – подробностей я не знаю, а только слышал, что он умер.

– Когда он умер? – любопытствовал другой.

– Вчера в ночь, кажется.

– Как? Что это с ним случилось? – спросил третий, доставая крупную щепоть табаку из своей громадной табакерки. – Я так думал, что ему и века будет мало.

– А бог его знает, – сказал первый, зевая.

– Что он сделал со своими деньгами? – спросил краснолицый господин с таким огромным наростом на конце носа, что он болтался у него, как у индюка.

– Не слыхал, – ответил человек с широким подбородком, снова зевая. – Может быть, компаньону своему оставил. Мне он не отказал их – вот все, что я знаю.

Эта шутка встречена была общим смехом.

– То-то дешевые будут похороны, – сказал тот же собеседник. – Хоть убей меня – не знаю никого, кто бы пошел на них. Вот разве нам собраться, так, по доброй воле?

– Пожалуй, я пойду, если будет завтрак, – заметил джентльмен с наростом на носу. – Кто хочет меня видеть, должен кормить меня.

Опять смех.

– Так я, пожалуй, бескорыстнее всех вас, – сказал первый собеседник, – потому что никогда не ношу черных перчаток и никогда не завтракаю. Но я готов отправиться, если еще кто-нибудь пойдет. Ведь если подумать, то вряд ли придется отрицать, что я был ближайшим его другом. При всякой встрече мы, бывало, с ним останавливались и разговаривали. Прощайте, господа!

Говорившие и слушавшие разошлись и скоро смешались с толпой. Скрудж знал этих людей и посмотрел на духа, как бы ожидая от него объяснения.

Призрак перенесся на улицу. Здесь палец его указал на двух встретившихся людей. Скрудж стал опять прислушиваться, думая, что найдет здесь объяснение.

Он знал очень хорошо и этих людей. Это были деловые люди, очень богатые и важные. Он всегда старался быть у них на хорошем счету, конечно с деловой точки зрения.

– Как вы поживаете? – сказал один.

– А вы как? – спрашивал другой.

– Хорошо! – сказал первый. – Старый скряга-то умер, слышали вы?

- Говорят, – ответил другой. – А ведь холодно, не правда ли?
- Как и должно быть на Рождество. Вы, нужно полагать, на коньках не катаетесь?
- Э, нет. И без того есть о чем подумать. До свидания.
- Вот и все. Встретились, поговорили и расстались.

Скрудж сначала удивлялся, что дух придает значение таким, по-видимому, пустым разговорам. Но чувствуя, что в них кроется какая-нибудь тайная цель, он стал размышлять: что бы именно это могло быть? Вряд ли можно было предположить, что они имеют какое-нибудь отношение к смерти Марли, его старого компаньона, потому что это было прошедшее, а дух был будущего. Одинаково он не мог отнести их к кому-либо из людей, непосредственно близких ему. Не сомневаясь, однако, что к кому бы они ни относились, в них заключается какая-нибудь скрытая мораль в целях его собственного исправления, он решился принимать к сердцу всякое слышанное им слово и все, что увидит, в особенности внимательно наблюдать свою собственную тень, когда она будет являться. Он ожидал, что поведение его будущего и даст ему ключ к разрешению этих загадок.

Он тут же начал искать глазами свой собственный образ. Но на его обычном месте стоял другой, и хотя по времени это был всегдашний час пребывания его на бирже, он не видел сходства с собою ни в одном из множества людей, спешивших войти в двери биржевого зала. Впрочем, он не особенно дивился этому, так как мысленно уже изменил свою жизнь, а потому думал и надеялся, что видит уже осуществившимися свои недавние решения.

Неподвижным и мрачным стоял подле него призрак со своею вытянутою рукою. Очнувшись от занимавших его мысли вопросов, Скрудж по изменившемуся положению руки призрака представил себе, что невидимый взор упорно остановился на нем. Это заставило его содрогнуться, и сильный холод пробежал по его телу.

Они покинули эту оживленную сцену и направились в другую часть города, где Скруджу не приходилось бывать раньше, хотя ему известно было, где она находится, и какой дурной славой пользуется. Грязные и узкие улицы; жалкие дома и лавчонки; полуголоое, пьяное и дикое население. Бесчисленные переулки и закоулки, подобно множеству сточных ям, извергали на улицы отвратительное зловоние, грязь и людей; от всего квартала несло пороком, скверной и нищетой.

В одном из отдаленнейших уголков этого логовища позора скрывалась под покатою кровлей низенькая лавчонка, где продавалось железо, старые лохмотья, бутылки, кости и всякие сальные грязные отброски. Внутри ее на полу лежали кучи ржавых ключей, гвоздей, цепей, крючков, петель, весов, гирь и тому подобного железного лома. Тайны, на разгадку которых немного нашлось бы охотников, зарождались и погребались здесь в горах неприглядного тряпья, кучах протухлого сала и старых костей.



Посреди этих товаров, около печки, сложенной из старых кирпичей, сидел седовласый семидесятилетний плут-хозяин.

Посреди этих товаров, около печки, сложенной из старых кирпичей, сидел седовласый семидесятилетний плут-хозяин, который, загородив себя от наружного холода растянutoй на веревке занавеской из засаленного тряпья, сосал свою трубку, наслаждаясь тихим уединением.

Скрудж и призрак очутились в присутствии этого человека в ту самую минуту, когда в лавку проскользнула женщина с тяжелым узлом в руках. Вслед за нею вошла другая женщина с подобной же ношей, а за ней мужчина в полинявшей черной одежде, который не менее был испуган при виде женщин, чем они сами, когда узнали друг друга. После нескольких минут безмолвного изумления, которое разделял и сам хозяин лавочки, они все трое разразились смехом,

– Приди сперва поденщица одна! – сказала женщина, вошедшая сначала. – Потом бы прачка одна, а третьим бы гробовщик, тоже один. А то вот какой случай, дедушка Джо! Ведь нужно же было нам здесь всем вместе столкнуться!

– Да где же вам и сойтись, как не здесь, – отвечал старик, отнимая ото рта трубку. – Пойдемте в приемную, ты там уже давно свой человек; да и те обе тоже не чужие. Дайте только запереть наружную дверь. Ишь ты, как скрипит! Пожалуй, что ржавее этих петель ничего здесь не найдется, и костей старше моих тут не сыщешь. Ха-ха! Мы все подходящий народ для нашего дела. Ступайте, ступайте в приемную.

Приемной называлось пространство за занавеской из лохмотьев. Старик сгреб уголья в печке старым прутом от шторы и, поправив свой смрадный ночник (была уже ночь) чубуком своей трубки, засунул ее снова в рот.

Тем временем женщина, явившаяся первой, бросила свой узел на пол и с важностью уселась на стул, облокотившись на колена, нахально и недоверчиво поглядывая на остальных двоих.

– Н, что же? Зачем дело стало, миссис Дильберс? – сказала она. – Всякий имеет право о себе заботиться. Он сам всегда так поступал!

– И то правда! – сказала прачка. – На этот счет ему пары не было.

– Так что ж вы глаза-то вытаращили, точно испугались друг друга? Ну, кто умней? Ведь не обождать один другого мы пришли сюда.

– Нет, зачем же! – сказали Дильберс и мужчина в один голос. – Совсем не для того, полагать надо!

– И отлично! – воскликнула женщина. – Больше ничего и не требуется. Кому тут убыток, что мы прихватили подобную безделицу. Ведь не мертвецу же это нужно.

– Конечно, нет! – сказала Дильберс со смехом.

– Если старый скряга хотел, чтобы эти вещи остались целы после его смерти, продолжала женщина, – так что ж он жил не как люди? Живи он по-людски, было бы кому и присмотреть за ним, когда смерть-то его настигла; не лежал бы так, как теперь – один-одинешенек.

– Вернее этого и сказать нельзя, – подтвердила Дильберс. – Поделом ему.

– Не мешало бы этому узлу быть потяжелее, – ответила женщина. – Да и был бы он тяжелее, будьте покойны, только вот руки-то не дошли, спешила... Развяжи-ка его, узел-то, дедушка Джо, да скажи, что он стоит. Говори начистоту. Я не боюсь быть первой и не боюсь, что они увидят. Мы ведь отлично знали, что помогали друг другу, прежде чем здесь встретились. Джо, развязывай узел.

Но учтивость ее друзей не допустила этого, и мужчина в полинялом черном платье, вскочив первым, выложил свою добычу. Невелика она была. Одна-две печати, коробка для карандашей, пара пуговиц от рукавов, дешевая брошь – вот и все. Старик стал их рассматривать и оценивать, причем сумму, которую готов был дать за каждую из вещей, писал мелом на стене. Наконец, переписав все вещи, подвел итог.

– Вот твой счет, – сказал старик, – и что хочешь со мной делай, а я шести пенсов к нему не прибавлю. Чья теперь очередь?

Очередь была за Дильберс. Тем же порядком была записана оценка принесенных ею вещей: простынь и полотенец, нескольких штук носильного белья, двух старинных чайных ложек, пары сахарных щипчиков и нескольких сапог.

– Я всегда слишком много плачу дамам. Такова уж моя слабость, этим и разоряю себя, – сказал старик. – Вот что вам приходится. Если бы вы хоть пенс попросили прибавить, мне пришлось бы раскаться в своей щедрости и прямо скостить полкроны.

– Ну, дедушка, теперь мой узел развязывай, – сказала первая женщина.

Старик стал на колена, чтобы удобнее было развязывать. Наконец, с трудом распутав узел, он вытащил широкий и тяжелый сверток какой-то темной материи.

– Это что такое, по-вашему? – спросил он. – Занавес от постели!

– А-то что ж! Занавес и есть, – ответила женщина, смеясь и подаваясь вперед со своего стула.

– Так-таки вы его и стащили целиком с кольцами, когда он лежал под ним?! – удивился Осип.

– Да, так и стащила. А что же?

– Вы рождены для того, чтобы составить себе состояние, – заметил старик, – и вы этого достигнете.

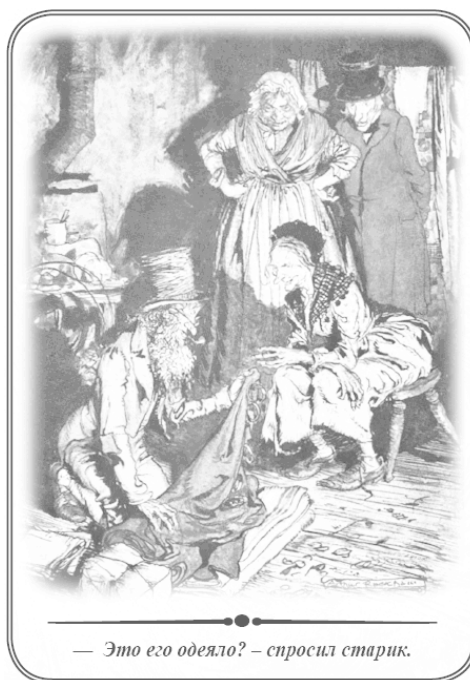
– Понятное дело, я не положу охулки на руку, когда что попадет под нее, особенно ради такого человека, каким он был, – равнодушно отвечала женщина. – Можете быть спокойны на этот счет. Смотрите, масло-то на одеяло прольете.

– Это его одеяло? – спросил старик.

– А чье же еще, по-вашему? Думаю, что он и без него теперь не простудится.

– Надеюсь, он не от заразы какой-нибудь помер? А? – спросил старик, оставив свое занятие и посмотрев на нее.

– Этого не бойтесь, – отвечала женщина. – Я не настолько дорожу его обществом, чтобы оставаться около него для такого дела, если бы он от заразы помер. Хотя до боли глаз смотрите сквозь ту сорочку, ни одной дырочки, ни одного протертого местечка не найдете в ней. Это его лучшая сорочка была, да она и вправду отличная. Они бы истратили ее даром, если бы не я.



— Как так истратили бы ее? — спросил старик.

— Схоронили бы его в ней, — отвечала женщина, смеясь. — Какой-то дурак так было и сделал; только я сняла ее. Если для этой цели коленкор не годится, так я не знаю, на что он после того годен. Самая подходящая материя для покойника. В ней он не смотрит страшнее, чем в той.

Скрудж с ужасом прислушивался к этому разговору. Видя их сидящими над своей добычей при слабом свете ночника, он смотрел на них с не меньшим отвращением, как если бы это были безобразные демоны, торговавшие из-за самого трупа его.

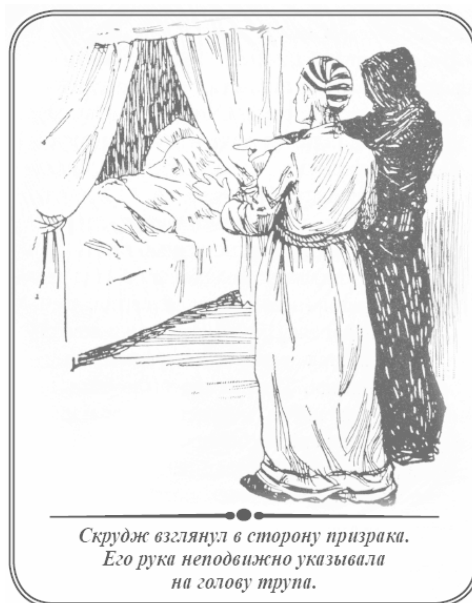
— Ха-ха! — раздался смех женщины, когда старик, вытащив из кармана фланелевый мешок с деньгами, стал каждому отсчитывать его выручку. — Вот вам и конец всему! Пока жив был, отпугивал от себя всякого; зато как помер, мы от него и попользовались! Ха-ха-ха!

— Дух, — сказал Скрудж, трясаясь всем телом, — я вижу, вижу. Случай с этим несчастным человеком мог бы повториться со мною самим. Моя настоящая жизнь ведет к тому. Милосердный Боже, что это такое!

Он отскочил в ужасе, так как сцена изменилась, и он теперь почти касался кровати — кровати голой, без занавесок, на которой под худой изорванной простыней лежало что-то прикрытое, которое, хотя и было немо, говорило о себе ужасным языком.

В комнате было очень темно, так темно, что разглядеть ее хорошенько нельзя было, хотя Скрудж, повинувшись тайному побуждению, осмотрелся кругом, чтобы узнать, что это была за комната. Бледный свет, пробивавшийся снаружи, падал прямо на кровать. На ней, ограбленное, покинутое, беспризорное, неоплаканное, лежало тело человека.

Скрудж взглянул в сторону призрака. Его рука неподвижно указывала на голову трупа. Покрышка была накинута так небрежно, что стоило бы Скруджу слегка дотронуться до нее пальцем, и лицо бы раскрылось. Он подумал об этом, чувствовал, как легко бы ему было это сделать, и ему сильно хотелось этого, но у него одинаково не хватало сил сдвинуть покрывало, как и освободить себя от присутствия призрака.



О, холодная, суровая, страшная смерть! Воздвигай здесь алтарь свой, одевай его ужасами, какие есть в твоей власти, ибо это твое царство! Но ты не можешь для своих страшных целей тронуть ни одного волоса, не смеешь исказить ни одной черты на лице любимого, почитаемого и уважаемого человека. Пусть тяжела рука, пусть падает она, когда ее не держат; пусть не бьется сердце и не слышен пульс. Зато эта рука была открыта, благородна и верна; сердце было честно, горячо и нежно. Поражай, тень, поражай! И смотри, как из нанесенной тобою раны изливаются добрые дела, чтобы посеять в мире жизнь бессмертную!

Не голосом были произнесены эти слова на ухо Скруджа, тем не менее, он слышал их, когда смотрел на постель. Он думал, что если бы можно было поднять теперь этого человека, то какие были бы его первые мысли! Скупость, кулачество, жадность к наживе?.. Нет! К доброму концу привели они его!

Одиноким лежал покойник в унылом, пустом доме; около него ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые бы могли сказать, что вот он в том или в другом был добр ко мне, и, памятуя хоть одно доброе слово, я заплачу ему добром же. Какая-то одичалая кошка царапалась у двери, да слышалось, как под камином возились мыши. Чего им нужно было в этой комнате смерти, и отчего обнаруживали они такое беспокойство, о том Скрудж не смел и помыслить.

– Дух, – сказал он, – это страшное место. Покидая его, я не забуду его урока, поверь мне. Уйдем отсюда!

Но призрак продолжал неподвижною рукой указывать ему на голову.

– Понимаю тебя, – произнес Скрудж. – И я бы сделал это, если бы мог. Но у меня нет силы, дух. У меня нет силы.

Призрак как будто снова поглядел на него.

– Если есть в городе кто-нибудь, кто принимает к сердцу смерть этого человека, – продолжал Скрудж в страшной тоске, – то покажи мне его, умоляю тебя, дух!

Призрак на мгновение распустил свое темное одеяние наподобие крыла; затем, сложив его, открыл взорам Скруджа освещенную дневным светом комнату, в которой находилась мать со своими детьми.

Она кого-то ждала и ждала с большим нетерпением, потому что быстро ходила взад и вперед по комнате, выглядывала из окна, смотрела на часы, старалась, хотя и напрасно, приниматься за свое шитье и едва могла переносить голоса резвившихся детей.

Наконец послышался давно ожидаемый стук в дверь. Она бросилась к ней и встретила своего мужа. Лицо его, хотя еще и молодое, носило печать забот и уныния. Теперь на нем заметно было какое-то странное выражение довольства, которого он стыдился и которое, видимо, старался побороть в себе.

Он сел за приготовленный для него обед, и когда она, после долгого молчания, робко спросила его, что нового, он, казалось, затруднялся ответом.

– Хорошие или дурные вести? – спросила она, чтобы как-нибудь помочь ему.

– Дурные, – был ответ.

– Мы разорены окончательно?

– Нет. Еще есть надежда, Каролина.

– Если он смягчится, – сказала она с изумлением, – то конечно есть! Можно надеяться на все, если случится подобное чудо.

– Ему уже нельзя смягчиться. Он умер.

Она была кротким и терпеливым существом, если верить ее лицу. Но в душе она рада была такому известию, что и высказала, всплеснув при этом руками. В следующую же минуту она просила у Бога прощения и очень жалела о своей радости, хотя первое ощущение ее шло от сердца.

– То, что та полупьяная женщина, о которой я вчера вечером говорил тебе, передавала мне, когда я пытался повидаться с ним, чтобы выпросить недельную отсрочку, и что я считал простым предложением не принять меня – оказывается вполне верным. Он не только был очень болен, но умирал тогда.

– К кому же перейдет теперь наш долг?

– Не знаю. Но к тому времени деньги у нас будут. Да если бы даже и не так, то было бы уже положительным несчастьем, если бы преемник его оказался таким же безжалостным кредитором. Эту ночь мы можем спать спокойно, Каролина!

Да. Как ни старались они ослабить свое чувство, тем не менее, это было чувство облегчения. Лица детей, потихоньку столпившихся кругом, чтобы прислушаться к столь малопонятному для них разговору, просветлели, и вообще весь дом стал счастливее вследствие смерти этого человека. Единственное вызванное этим событием ощущение, которое дух мог показать ему, было ощущением удовольствия.

– Покажи мне какое-нибудь проявление чувства сожаления по поводу чьей-либо смерти, – сказал Скрудж, – иначе та мрачная комната, которую мы только что покинули, будет у меня всегда перед глазами.

Призрак провел его по нескольким столь знакомым ему улицам. По пути Скрудж смотрел направо и налево, ища себя, но его нигде не было видно. Они вошли в дом Боба Крэтчита, в тот самый, где он был уже раньше, и застали мать и детей сидящими вокруг огня.

В комнате было тихо. Шумливые младшие Крэтчиты неподвижно, как вкопанные, сидели в углу, смотря на Питера, державшего перед собою книгу. Мать с дочерьми заняты были шитьем и тоже молчали.

– «И Он взял младенца, и поставил его среди них».

Где слышал Скрудж эти слова? Не во сне же он их слышал. Вероятно, мальчик прочел их, когда они с духом переступали порог. Но что же он не продолжает?

Мать положила на стол свою работу и поднесла руку к лицу.

– Мне свет режет глаза, – сказала она.

– Свет? Ах, бедный Тим!

– Ну, теперь опять ничего, – сказала мать. – От свечки устают глаза, а мне ни за что на свете не хотелось бы показывать вашему отцу, когда он вернется домой, что они у меня плохи. Пора бы ему прийти, кажется.

– Да, уже прошло его время, – отвечал Питер, закрывая книгу. – Но мне кажется, матушка, что последние несколько дней он тише ходит, чем обыкновенно.

Все снова замолкли. Наконец мать нарушила молчание, произнеся твердым, веселым голосом, причем он только раз дрогнул:

– Знаю я, как он ходил, как шибко ходил, неся, бывало, на плечах Тима.

– И я знаю! – воскликнул Петр. – Часто видал.

– И я тоже! – повторили все.

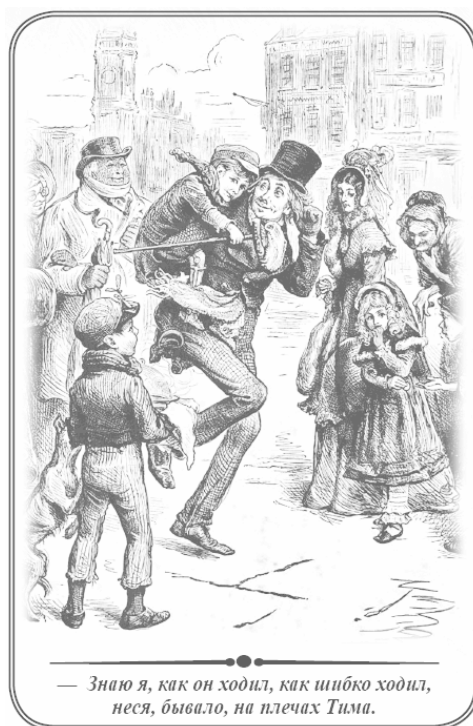
– Но его очень легко было носить, – продолжала она, углубившись в свою работу, – и отец так любил его, что и за труд не считал. А вот и он, ваш отец!

Она поспешно встала ему навстречу, и Боб вошел, окутанный своим шарфом (бедняге он куда как был нужен). Чай для него стоял уже готовым на полке камина, и всякий старался, как мог, услужить ему. Затем двое младших Крэгчитов забрались к нему на колени, и каждый из них, прильнув щекой к его лицу, как будто говорил: ничего, папа, не горюй!

Боб был очень весел с ними и ласково беседовал со всей семьей. Посмотрев лежавшую на столе работу и похвалив прилежание и спорость жены и дочерей, он высказал уверенность, что они управятся задолго до воскресенья.

– До воскресенья! Так ты ходил туда сегодня, Роберт? – сказала жена.

– Да, моя милая, – отвечал Боб. – Хочется, чтобы и вы могли сходить туда. Вам бы приятно было увидеть, как зелено это местечко. Впрочем, вы часто будете видеть его. Я обещал ему приходить туда по воскресеньям. О, мой малютка! Мой маленький малютка! – воскликнул Боб.



Так он, наконец, не выдержал. Не по силам ему это было. А если б было по силам, он и ребенок его были бы, может быть, гораздо дальше друг от друга, чем теперь.

Он оставил семью и поднялся по лестнице в верхнюю комнату, которая была ярко освещена и украшена по-праздничному. В ней рядом с гробом малютки стоял стул, и было видно, что кто-нибудь незадолго приходил сюда. Бедный Боб сел на стул и задумался; просидев так

несколько времени, он, по-видимому, успокоился, поцеловал маленькое личико как бы в знак примирения с совершившимся событием и сошел вниз вполне спокойный.

Они уселись вокруг огня и стали разговаривать; девицы и мать продолжали работу. Боб рассказал им о редкой доброте племянника Скруджа, которого он видел только раз.

– Несмотря на то, он, встретив меня сегодня на улице и заметив, что я немножко – ну, так немножко не в духе, спросил у меня, что случилось, что меня так расстроило. Когда я ему объяснил, в чем дело, – продолжал Боб, – ведь это самый любезный человек, какого я только знаю, – он тут же сказал: «Мне искренне жаль вас и вашу добрую супругу!» Но только как уже он узнал про это, право, не знаю.

– Про что узнал, мой милый?

– Да про то, что ты хорошая жена, – отвечал Боб.

– Кто же этого не знает! – заметил Питер.

– Отлично сказано, сынок мой! – похвалил Боб. – Надеюсь, что так. «Искренне жаль, говорит, вашу добрую супругу. Если могу чем-нибудь вам быть полезным, – сказал он, давая мне свою карточку, – вот где я живу. Пожалуйста, приходите ко мне». И знаете, – продолжал Боб, – не потому, чтобы он мог оказать нам какую-нибудь помощь, а главное его добрая, радушная манера решительно очаровала меня. Право, казалось, будто он знал нашего Тима и чувствовал вместе с нами.

– Добрая, должно быть, душа у него! – сказала миссис Крэтчит.

– Ты бы в этом еще более убедилась, моя милая, – возразил Боб, – если бы увидела его и поговорила с ним. Я бы нисколько не удивился, если бы он доставил Питу лучшее место.

– Слышишь, Пит? – сказала мистрис Крэтчит.

– А потом, – сказала одна из сестер, – Пит вступит к кому-нибудь в компанию и откроет свое дело.

Питер приятно улыбался.

– Еще бы, – сказал Боб, – когда-нибудь это будет, хотя для того еще немало времени впереди, мои милые. Но когда бы нам ни пришлось разлучаться друг с другом, я уверен, что никто из нас не позабудет бедного Тима – эту первую среди нас разлуку.

– Никогда, папа! – ответили все.

– И я знаю, – сказал Боб, – я знаю, мои милые, что если мы будем помнить, как он был терпелив и кроток, хотя он был маленький ребенок, нам трудно будет ссориться друг с другом.

– Нет, папа, никогда! – снова ответили все.

– Я очень счастлив, – сказал маленький Боб, – очень счастлив.

Миссис Крэтчит поцеловала его, то же сделали дочери и двое меньших детей, а Питер крепко пожал отцу руку.

– Душа крошки Тима, от Бога было твое детское существо.

– Призрак! – сказал Скрудж. – Что-то говорит мне, что минута нашей разлуки близка. Скажи мне, кто это, кого мы видели мертвым?

Дух грядущего Рождества повел его, как и прежде, местами, где сходятся деловые люди, но не показывал ему его самого. Призрак, нигде не останавливаясь, шел все дальше, как бы стремясь к желанной Скруджем цели, пока последний, наконец, не обратился к нему с мольбою остановиться на минуту.

– Этот двор, – сказал Скрудж, – через который мы теперь несемся, и есть место, где я занимаюсь уже давно. Я вижу дом. Дай мне посмотреть, что будет со мною со временем.

Дух остановился, но рука его указывала в другом направлении.

– Вот где дом! – воскликнул Скрудж. – Почему ты не туда указываешь?

Но указательный палец призрака не менял направления.

Скрудж поспешил к окну своей квартиры и заглянул туда. Это была все еще контора, но не его. Мебель была не та, и фигура, сидевшая в кресле, тоже не его. Так как призрак не менял

своего положения, то Скрудж снова присоединился к нему и, не понимая, куда и зачем они шли, сопровождал его, пока они не пришли к каким-то железным воротам. Прежде чем войти в них, он остановился, чтобы осмотреться вокруг.



Кладбище. Так вот где погребен тот человек, имя которого он должен был сейчас узнать. Достойное это было место: окруженное со всех сторон домами, поросшее сорными травами, где не жизнь, а смерть питала и растила их, где земля разжирела от обильной пищи. Достойное место!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. С трепетом направился к ней Скрудж. Дух был все таким же, но ужас подсказывал Скруджу, что какое-то новое значение было в его торжественной позе.

– Прежде чем я подойду к камню, на который ты мне указываешь, – сказал он, – ответь мне на один вопрос: тени ли это вещей, которые будут, или только того, что может быть?

Призрак продолжал указывать на могилу, у которой стоял.

– Образ жизни людей предзнаменует тот или другой конец, к которому он должен привести их, – произнес Скрудж. – Но если в нем произойдет перемена, то и конец будет иной. Скажи, не такой ли смысл имеет и то, что ты мне показываешь?

Дух был неподвижен, как всегда.

Скрудж, продолжая трястись от страха, подполз к могиле и, следя за пальцем духа, прочел на камне свое собственное имя: «Эбенезер Скрудж».

– Так это и тот человек, что лежал там на постели?! – вскрикнул он, не поднимаясь с колен.

Палец указал с могилы на него и обратно.

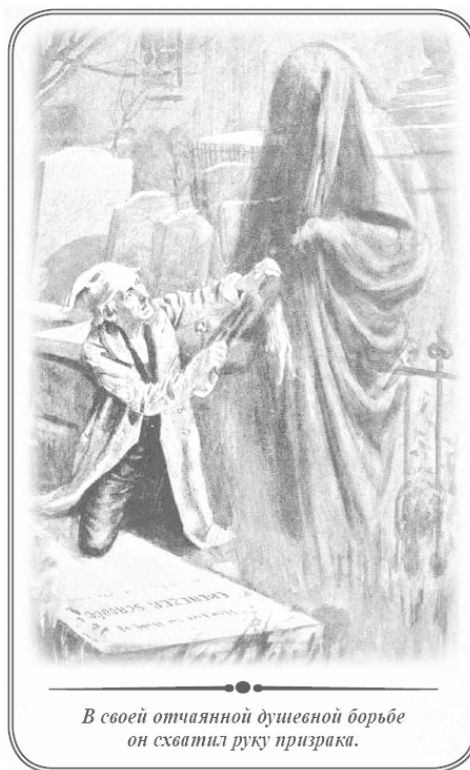
– Нет, дух! О нет-нет!

Палец не опускался.

– Дух, – воскликнул он, крепко хватаясь за его одежду, – выслушай меня! Я не тот, что был. Я не буду тем, чем я должен был стать, не получив этого урока. Зачем мне это показывать, если для меня нет никакой надежды?

В первый раз, казалось, дрогнула рука призрака.

– Добрый дух! – продолжал Скрудж, все еще оставаясь перед ним на коленях. – Само твое сердце меня жалеет и просит за меня. Дай мне уверенность, что я еще могу изменить эти, показанные мне тобою, тени, переменяя свою жизнь!



Добрая рука снова дрогнула.

– Я буду чтить Рождество от всего сердца и постараюсь круглый год блюсти его. Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем. Духи всех трех будут бороться во мне за первенство. Я не забуду данных мне ими уроков. О, скажи мне, что я могу стереть надпись на этом камне!

В своей отчаянной душевной борьбе он схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но державшая ее рука не уступала. Однако дух оказался сильнее и оттолкнул его.

Подняв вверх руки в последней мольбе, он заметил в призраке перемену. Он стал сжиматься, опадать и – превратился в столбик кровати.

V

Конец

Да! И кровать его собственная, и комната его собственная. А всего лучше и дороже, что время для исправления было у него впереди.

– Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем, – повторял Скрудж, слезая с кровати. – Духи всех трех будут бороться во мне за первенство. О, Яков Марли! Небу, Рождеству и тебе я обязан этим! Говорю это, стоя на коленях, старый Яков, – на коленях!

Он был так взволнован, так охвачен своими порывами к добру, что голос его едва повиновался ему. Он сильно рыдал во время борьбы с духом, и лицо его было мокро от слез.

– Они не сдернуты! – воскликнул Скрудж, сжимая в руках одну из занавесок своей кровати. – Они не сняты, они здесь, и кольца здесь! Я здесь, тени вещей, которые могли бы быть, могут быть рассеяны. Так и будет. Я знаю, они рассеются!

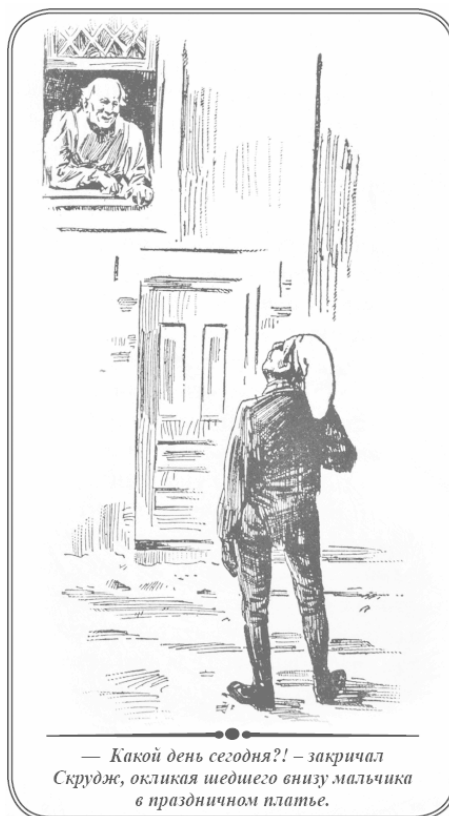
Все это время руки его работали над платьем. Он спешил одеться, а они его не слушались; что ни схватит – шиворот навыворот, за что ни возьмется – все переворачивается наизнанку или вверх ногами; то найдет вещь, то опять ее потеряет.

– Что ж я буду делать! – воскликнул он, смеясь и плача в одно и то же время, представляя из себя настоящего Лаокоона, только обвитого чулками вместо змей. – Я легок, как перышко,

счастлив, как ангел, весел, как школьник, и голова точно с похмелья. Поздравляю всякого с радостным праздником! Всем свету желаю счастья на Новый год! Гей! Ура! Ура!

Он выскочил в соседнюю комнату и остановился, едва переводя дух.

– Вот она кастрюля, где была каша! – закричал он, снова придя в движение и суетясь около камина. – Вот дверь, в которую вошел дух Якова Марли. Вот угол, где сидел дух настоящего Рождества! А вот окно, из которого я видел странствующие души! Все так, все верно, все это было. Ха-ха-ха!



Отличный был это смех, настоящий, знаменитый смех для человека, который столько лет прожил без всякого смеха. Этот хохот предвещал длинный-длинный ряд блестящих повторений!

– Не знаю, какое сегодня число, какой день месяца! Не знаю, долго ли я был с призраками. Ничего-ничего не знаю. Совсем как ребенок. Да что за важность, лучше буду ребенком. Гей! Ура! Ура!

Его восторги были прерваны звоном колоколов, звучавших как никогда прежде. Динь-динь-дон. Динь-дирин-динь, дон-дон-дон! О, чудесно, чудесно!

Подбежав к окну, он открыл его и выглянул. Тумана как не бывало; яркий, веселый, морозный день. Блестящее солнце, прозрачное небо! О, чудо, о, восторг!

– Какой день сегодня?! – закричал Скрудж, окликав шедшего внизу мальчика в праздничном платье.

– Чего? – спросил мальчишка в недоумении.

– Какой нынче день, мальчуган? – повторил Скрудж.

– Нынче? Да нынче Рождество Христово.

– А, Рождество! – сказал Скрудж самому себе. – Значит, я не пропустил его. Духи все в одну ночь обработали. Все, что хотят, то и делают. Конечно, они это могут. Конечно... Эй, мальчик!

– Что вам? – отозвался тот.

– Знаешь ты мясную лавку, что на углу второй отсюда улицы? – осведомился Скрудж.

– Как не знать!

– Умный мальчик! – сказал Скрудж. – Замечательный мальчик! А не знаешь ли ты, продали они ту знаменитую индюшку, что была у них вывешена? Не маленькую, а ту, толстую?

– А это что с меня-то будет? – отвечал мальчик.

– Ну, что за прелесть этот мальчик! – сказал Скрудж. – Просто удовольствие говорить с ним. Она самая, молодчик.

– Она и сейчас там висит.

– Правда? Поди-ка, купи ее.

– Э, полно вам шутить!

– Кроме шуток. Серьезно говорю. Купи ее да вели сюда принести; я скажу, куда ее отправить. Сам тоже приходи с посланным, я дам тебе шиллинг. А если вернешься сюда раньше, чем пройдет пять минут, то подарю тебе полкроны!

Мальчик пустился бежать изо всей мочи.

– Пошлю ее Бобу Крэтчиту, – шептал Скрудж, потирая руки и посмеиваясь. – Он не узнает, кто ее послал. Она как раз вдвое больше Тима. Вот штука-то будет.

Нетвердою рукою написал он адрес и сошел вниз к наружной двери – встретить посланного из лавки. Стоя в ожидании, он взглянул на колотушку.

– Всю жизнь буду любить ее! – воскликнул Скрудж, схватив ее рукою. – Вряд ли когда прежде я обращал на нее внимание. Какой у нее приятный вид! Замечательная колотушка!.. А вот и индюшка. Ура! Как поживаете? С праздником вас.

И что это была за индюшка! Наверное, на ногах не могла стоять от жира, когда жива была.

– А что, ведь ее, пожалуй, не донести до Кэмден-тауна, – сказал Скрудж. – Нужно взять вам извозчика.

Радостный смех, с которым он сказал это, смех, с которым заплатил за индюшку, а потом за извозчика, и с которым наградил мальчика, уступал разве только тому смеху, с которым он уселся опять в свое кресло. Скрудж продолжал смеяться, пока, наконец, не заплакал от радости!



Нелегкое дело было теперь побриться, потому что руки у него тряслись сильнеешим образом, а бритье требует осторожности даже в спокойном состоянии. Но если бы даже он отрезал себе кончик носа, то наложил бы только кусочек пластыря на обрезанное место – и горя мало.

Он оделся в свое лучшее платье и, наконец, вышел на улицу. Народ там двигался взад и вперед, как он видел перед этим, находясь в обществе духа настоящего Рождества. Заложив руки за спину, Скрудж посматривал на всех с приятной улыбкой. Вид его был так приветлив, что трое или четверо встречаемых, находившихся в особенно веселом расположении духа, обратились к нему с приветствием и пожеланием веселого праздника. Скрудж часто потом рассказывал, что это были самые приятные из когда-либо слышанных им звуков.

Он еще недалеко отошел, как увидал шедшего ему навстречу полного господина, который накануне вошел в его контору со словами: «Это контора Скруджа и Марли, если не ошибаюсь?» Сердце его почувствовало боль при мысли, как посмотрит на него этот господин, когда они встретятся. Но он знал, какой путь предстоял ему теперь, и, не задумываясь, пошел по нему.

– Дорогой сэр, – сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря старого джентльмена за обе руки, – как вы поживаете? Надеюсь, что вы имели успех вчера. Это очень хорошо с вашей стороны. Желаю вам веселых праздников, сэр.

– Мистер Скрудж?

– Да, – произнес он, – это мое имя. Боюсь только, что оно может быть вам неприятно. Позвольте мне попросить у вас извинения. И не будете ли вы так добры, – тут Скрудж сказал ему что-то на ухо.

– О! – воскликнул джентльмен, пораженный удивлением. – Дорогой мистер Скрудж, да серьезно ли вы говорите?

– Пожалуйста, – ответил Скрудж. – Ни фартинга меньше. Тут много отплат за прежнее время, уверяю вас. Так вы мне сделаете это одолжение?

– Дорогой сэр, – сказал тот, тряся ему руку, – не знаю, что и сказать о такой щедрости.

– Пожалуйста, ни слова больше, – возразил Скрудж. – Приходите ко мне. Не правда ли, вы придете?

– Непременно! – ответил старый джентльмен.

Ясно было, что он намерен был исполнить свое обещание.

– Благодарю вас, – сказал Скрудж. – Очень вам обязан. Сто раз благодарю вас. Дай вам Бог всего хорошего!

Он побывал в церкви, ходил по улицам, наблюдал, как спешили люди туда и сюда, гладил детей по голове, расспрашивал нищих, заглядывал вниз в кухни домов и наверх в окна, находя, что все может доставить ему удовольствие. Ему и во сне никогда не снилось, чтобы прогулка могла принести ему так много счастья. После полудня он направил шаги к дому своего племянника.

Раз десять прошел он мимо двери, прежде чем осмелился подойти к ней и постучать. Наконец, собравшись с духом, он быстро подбежал к ней и ударил молотком.

– Дома ли твой хозяин, моя милая? – сказал Скрудж отворявшей ему горничной. – Славная девушка, право!

– Дома, сэр.

– Где он, моя дорогая? – спросил Скрудж.

– Он в столовой, сэр, с барыней. Не угодно ли вам пожаловать за мною наверх.

– Благодарю. Он меня знает, – ответил Скрудж, уже положив руку на ручку двери в столовую. – Я здесь войду, моя милая.



Он тихонько приотворил дверь и просунул в нее лицо. Муж и жена осматривали в эту минуту парадно накрытый стол. Ведь молодые хозяева всегда щепетильны на этот счет и любят, чтобы все было, как следует.

– Фрэд! – произнес Скрудж.

О, батюшки светы, как вздрогнула с испуга жена его племянника! Скрудж забыл в эту минуту, что она не совсем здорова, а то бы ни за что на свете не сделал бы этого.

– Ах! – воскликнул Фрэд. – Кто там?

– Это я. Твой дядя Скрудж. Пришел обедать. Можно взойти, Фрэд?

Можно ли взойти! Чудо еще, что тот совсем не оторвал у него руки от радости. Не прошло и пяти минут, а Скрудж был уже как у себя дома. Ничто не могло быть сердечнее оказанного ему приема, как со стороны племянника, так и со стороны его жены. Так же отнесся к нему и Топпер, когда пришел; так же и толстуха-сестрица, когда она пришла; так же – и все остальные явившиеся потом гости. Отличная была эта компания, отличные были игры, удивительное единодушие, замечательное счастье!

Но на следующее утро Скрудж рано уже был в конторе. Совсем рано. Главное, чтобы ему первому быть там и поймать Боба Крэтчита, когда тот опоздает! Достигнуть этого ему хотелось во что бы то ни стало.

Так он и сделал. Пробило девять часов – Боба нет. Четверть десятого – Боба все нет. Он опоздал на целых восемнадцать минут с половиною. Скрудж сел, оставив свою дверь открытой, чтобы видеть, как тот войдет в свою каморку.

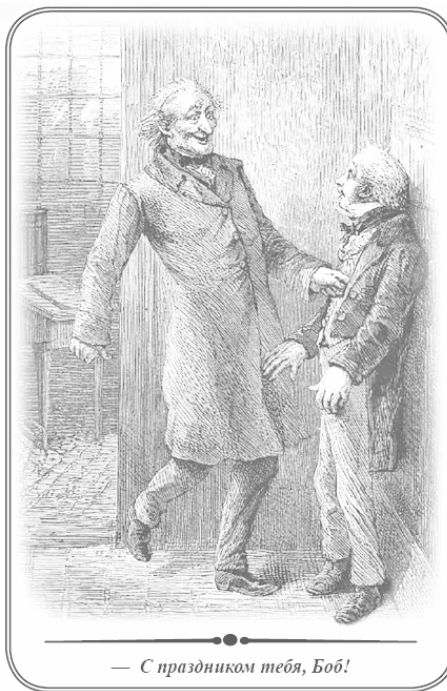
Прежде чем войти, тот уже снял шляпу и свой шарф. В один миг он очутился на своем стуле и быстро заработал пером, как бы желая нагнать время опоздания.

– Эге! – заворчал Скрудж, стараясь, как только мог, подражать своему обыкновенному голосу. – Что это значит, что вы являетесь сюда в такое время?

– Я очень сожалею, сэр, – сказал Боб. – Я опоздал.

– Вы опоздали? – повторил Скрудж. – Думаю, что так. Не угодно ли вам пожаловать сюда.

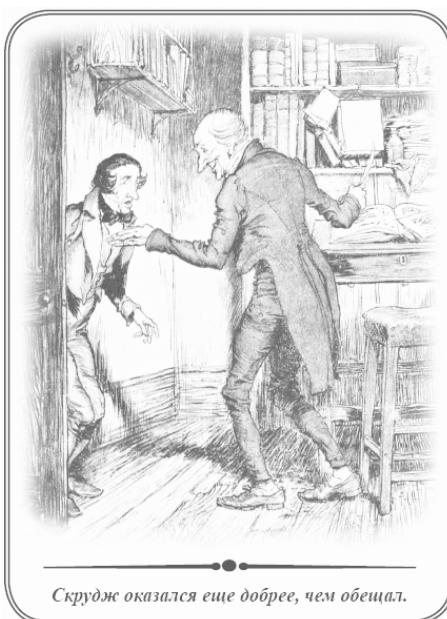
– Ведь это только раз в целый год, сэр, – оправдывался Боб, выходя из своей каморки. – В другой раз этого не случится. Уж очень вчера весело было, сэр.



— Вот что я вам скажу, друг мой, — произнес Скрудж. — Я не намерен допускать повторения подобных вещей. А потому, — продолжал он, вскакивая со стула и так ударив Боба, что тот отскочил назад в свою каморку, — а потому хочу прибавить вам жалованья!

Боб задрожал и несколько пододвинулся к линейке. Ему пришла вдруг мысль ударить ею Скруджа, связать его и, призвав на помощь людей с улицы, надеть на него смирительную рубашку.

— С праздником тебя, Боб! — сказал Скрудж таким серьезным тоном, что в нем нельзя было ошибиться, и ударяя конторщика по спине. — Желаю тебе, друг мой, праздника повеселее тех, которые ты видел от меня в течение многих лет! Я прибавлю тебе жалованья и постараюсь помочь твоей бедствующей семье, и сегодня же вечером мы обсудим, Боб, твои дела за стаканом горячего пунша. Разведи-ка огонь да сию же минуту купи другой ящик для угля.



Скрудж оказался еще добрее, чем обещал. Он все сделал и еще несравненно больше. А маленький Тим не умер, и Скрудж стал его вторым отцом. Он сделался таким хорошим другом, таким добрым хозяином и человеком, какого только знал свет. Некоторые смеялись происшедшей с ним перемене, но он не обращал на это внимания, так как знал, что какое бы доброе дело ни сделал, всегда найдутся в мире люди, для которых оно послужит предметом насмешки. Зная также, что такие люди бывают слепы во всем, он думал, что пускай лучше они морщият глаза смехом, чем обнаруживают свою болезнь в менее привлекательных формах. Его собственное сердце смеялось, а этого было для него вполне достаточно.

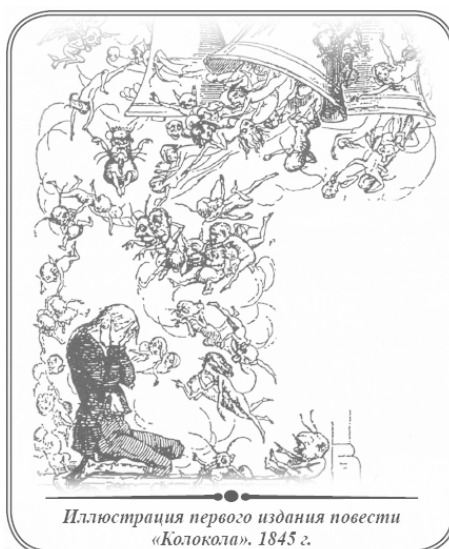
Он больше уже не виделся с духами, а прожил остальную жизнь по правилам полного воздержания. О нем всегда говорили, что он умел чтить Рождество, если вообще кто-либо из живых людей обладал этим знанием. Хорошо, если то же может быть справедливо сказано про каждого из нас! Итак, повторим слова маленького Тима: да благословит Господь всех нас!

Колокола

Рассказ домового о том, как куранты проводжали старый и встречали Новый год

I Первая четверть

Немного найдется людей, – а так как крайне желательно, чтобы рассказчик и его слушатель с самого начала возможно лучше понимали друг друга, я прошу не забывать, что отношу это примечание не исключительно к юношам или детям, но что оно касается всех без различия, больших и малых, молодых и старых, тех, кто еще растет, равно, как и стоящих на склоне жизни, – так немного найдется людей, говорю я, которые согласились бы провести ночь в церкви. Я, конечно, не говорю про то время, когда в церкви идет служба, в особенности в жаркий летний день (мы все не раз видели спящих в это время), но я говорю про ночь, про то время, когда в церкви никого нет.



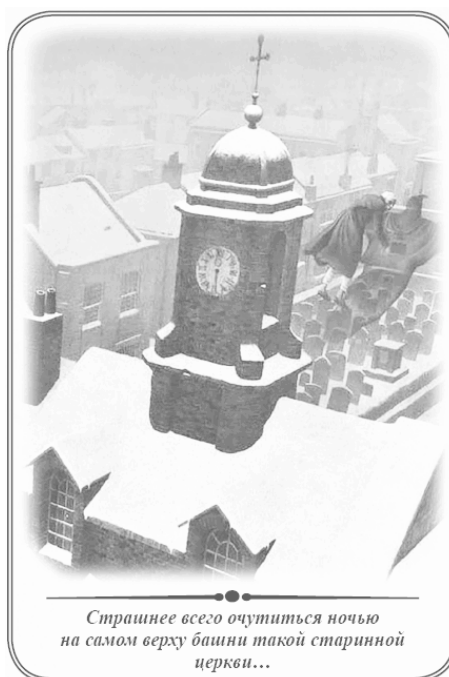
Находиться в церкви среди бела дня вещь вполне естественная. Но мы говорим, повторяю, исключительно о ночи, и я не сомневаюсь, что в любую темную ночь, при завывании ветра, в ночь, выбранную именно для этой цели, никто, встретившись со мною на паперти старой церкви запущенного кладбища, не решится дать себя запереть в ней до следующего утра, хотя бы ранее и дал на это свое согласие.

Оно и понятно, ветер ночью завывает вокруг этих мрачных зданий с бесконечным стоном, как бы стремясь потрясти невидимую рукою окна и двери, ища щель, через которую мог бы пробраться вовнутрь. А потом, ворвавшись, он как человек, не находящий того, что ищет, рвет и рыдает. Не находя выхода, он кружится по всей церкви, скользит вокруг колонн, бешено врывается в орган, опять кидается вверх, напрягая все усилия прорваться через крышу, а потом, неожиданно ринувшись вниз, как исступленный кидается на плиты пола, откуда, грозно рыча, уходит под своды.

Иногда он ползет вдоль стен, издавая прерывистые звуки, словно тайком читает надписи надгробных камней. Некоторые из них вызывали у него как бы взрыв смеха; другие, напо-

тив, звуки, похожие на рыдание и стоны отчаяния. Остановившись в алтаре, он как бы жалуетя гробовым голосом на всякого рода преступления, на убийства, святотатство, кощунство, поклонение ложным богам, неуважение к заповедям, так часто оскверняемым и искажаемым их толкователями.

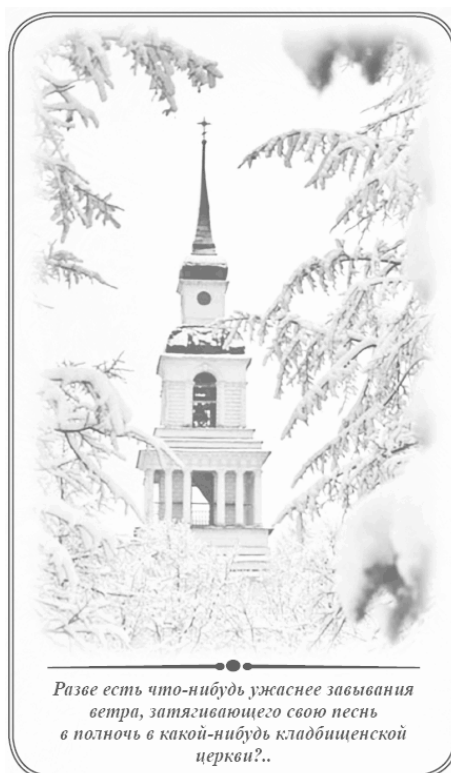
Брр! Господи, избавь нас от этого! Куда покойнее сидеть у себя дома, у семейного очага! Разве есть что-нибудь ужаснее завывания ветра, затягивающего свою песнь в полночь в какой-нибудь кладбищенской церкви?.. Но если бы вы знали, что происходит на колокольне, когда ветру удастся забраться на самый верх! Вот где он свищет и рычит с яростью! Там наверху ему полное раздолье; он свободно гуляет по открытым сводам и отверстиям стен, кружится вдоль ступеней лестницы, по которой нельзя подниматься, не испытывая головокружения; заставляет быстро вращаться пискливый флюгер и дрожать всю башню сверху донизу, словно бы ее потрясал сильнейший озноб!



Страшнее всего очутиться ночью на самом верху башни такой старинной церкви, где висит колокол, где железные перила проедены ржавчиной, где медные листы, изъеденные действием атмосферы со всеми ее переменами, трещат и выгибаются под ногами редких посетителей, где птицы вьют гнезда в старых дубовых стропилах, где пол белеет от времени; где пятнистые, разжиревшие от беззаботной и сытой жизни пауки небрежно раскачиваются из стороны в сторону под звуки колокольного звона, цепляясь за свои воздушные замки; или при внезапной тревоге быстро карабкаются по нитям паутины, как матросы по снастям; или же стремительно падают на землю, ища спасения в бегстве при помощи своих восьми проворных лапок! Да, страшно очутиться ночью на самом верху колокольни над огнями и шумом города, хотя и гораздо ниже облаков, бегущих по небу и затемняющих порою эту самую колокольню. Так вот о колоколах, живших именно в такой колокольне, я и поведу речь!

Это были старые колокола. О, такие старые, что целые века прошли с той поры, как их окрестил епископ! Уж поверьте мне в этом! Прошло столько веков, что давным-давно был потерян документ об обряде их крещения. Никто даже приблизительно не помнил ни времени, когда это происходило, ни о данных им при крещении именах! А между тем у них были и восприемники и восприемницы (мимоходом будь сказано, мне лично было бы приятнее принять ответственность крестного отца за колокол, чем за какого-нибудь мальчика, которого бы

пришлось держать у купели) и они были украшены серебряными бляхами. Но время унесло восприемников, а Генрих VIII велел перелить бляхи, и теперь колокола висят и без восприемников, и без серебряных украшений.



Но голоса они не лишились. О, напротив, у этих колоколов сильные, могучие и звучные голоса, звуки которых разносятся на далекие пространства на крыльях ветра. Да и сами по себе голоса их были достаточно мощны, так что их далеко было слышно и без ветра. Как только он делал попытку идти им наперекор, они смело принимали вызов и всегда победоносно достигали цели: они веселыми звуками касались напряженного слуха людей, проникали темною грозною ночью в жилище бедной матери, склонившейся у изголовья своего больного ребенка, или несчастной одинокой женщины, муж которой был в море... И звон их был так могуч, что не раз побеждал наголову северо-западные шквалы... Да именно «наголову», как выражался Тоби Векк. Хотя его большею частью и называли Тротти Векк, однако, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переделать его в другое, кроме Тобиаса, не имея на то специального разрешения парламента, так как он был в свое время окрещен так же правильно, как и колокола, с тою лишь разницей, что его крестины были менее пышны и не являлись общественным праздником.

Что касается меня, то я не стану возражать против приведенного выше мнения Тоби Векка, так как я нимало не сомневаюсь, что он имел достаточно случаев, чтобы хорошо его обдумать и выработать. И так все, что ни говорил Тоби Векк, я повторяю за ним и всегда готов постоять за него, хотя это и не совсем легкая задача, так как наш друг Тоби Векк был посыльным, и всем было известно, что место его стоянки было рядом с церковными дверями, где он и простаивал с утра до вечера в ожидании какого-нибудь поручения.



Нечего сказать, хорошенькое это было местечко зимою! В кого же он там и обращался: он отмораживал себе щеки; нос становился сине-красным, глаза слезились; ноги коченели; зубы чуть не крошились, – так он ими щелкал! Не совсем-то бедному Тоби было по себе!

Ветер, в особенности восточный, накидывался на него с остервенением из-за угла, как будто нарочно сорвался с двух концов света, чтобы угощать его пощечинами. Часто казалось, что ветер обрушивался на него именно в такую минуту, когда он этого никак не ожидал. Вылетев с неимоверною стремительностью из-за угла площади, ветер мчался мимо несчастного и вдруг возвращался, как бы радуясь тому, что опять встретил его и, казалось, ревел: «А, вот он! Я опять держу его!»

Тщетно тогда натягивал Тоби себе на голову свой маленький белый передник, подобно тому, как дурно воспитанные дети закрывают глаза лапами своей одежды. Напрасно вооружался своей небольшой тростью, как бы выходя на бой с непогодой. Кончалось тем, что его слабые ноги начинали невероятно дрожать, он поворачивался то направо, то налево; то съеживался, то сгибался, – но чтобы он ни предпринимал, ничего не помогало. Он был до того измучен, истерзан, избит, почти сшиблен с ног, что только каким-то положительным чудом не был сотни раз поднят на воздух наподобие целых колоний лягушек и других неустойчивых тварей и не упал потом на землю где-нибудь за тридевять земель, на удивление туземцев какой-нибудь дикой местности земного шара, где еще никогда не видывали посыльных.

Но бурная ветреная погода, несмотря на страдания, приносимые Тоби, всегда являлась для него каким-то праздником, это не подлежит никакому сомнению. В такие дни ему казалось, что время не так медленно тянется в ожидании заработка, как в остальные дни. Борьба с бешеной стихией отвлекала его внимание и возвращала ему энергию, когда голод и отчаяние подкрадывались к нему. Лютый мороз, снежная метель нарушали однообразие его существования и вызвали в нем какое-то возбуждение. Одним словом, такая погода действовала на него благотворно, но почему и каким образом это могло быть, остается для меня необъяснимым. Да, я думаю, что он сам, бедный Тоби, затруднился бы объяснить это явление! Словом, счастливыми для Тоби днями были дни бурь, морозов, снежных метелей!

Напротив, мокрая погода являлась для него сущим бедствием! Эта холодная, пронизывающая до мозга костей сырость, окутывала его мокрым липким плащом. Хотя это и был единственный род мужского длинного пальто, которым обладал бедный Тоби, но я думаю, что он охотно бы от него отказался, если бы это от него зависело.

Тяжелыми днями также для него были те, когда лил мелкий, назойливый, частый дождь; когда туман, казалось, хватал за глотку улицу, а вместе с нею и самого Тоби, когда мимо него сновали взад и вперед дымящиеся от испарений зонтики, подпрыгивающие в руках их владельцев, при встрече и столкновениях с другими, что неизбежно случалось при толкотне на тротуарах; когда зонтики орошали прохожих очень неприятными ручейками воды; когда противно было слышать бурлящую в водосточных трубах воду, с шумом выливающуюся, чуть

не каскадом, из переполненных труб; когда с выступов и крыши церкви она капля за каплей падала на бедного Тоби, обращая в настоящий навоз небольшой клочок соломы, на котором он стоял! О, подобные дни являлись для него сущим наказанием, настоящим испытанием! Тогда вы могли быть свидетелем, с каким испуганным видом затравленного зверя выглядывал он своими грустными глазами из-за угла церковных стен, служивших ему убежищем.

Но какое это было жалкое убежище! Оно и летом-то не более ограждало его от палящего солнца, чем простой шест, поставленный на раскаленном тротуаре! Временами он выходил из-за своего угла, немножко подвигаться и согреться. Маленькой рысцою бегал он то направо, то налево и, проделав это раз двенадцать, возвращался на свое место. Его прозвали Тротти² за его походку; кличка, которая, если и не создавала быстроту бега, во всяком случае, означала ее. Быть может, Тротти и мог ходить менее подпрыгивающей походкой и в то же время более скорой, но заставить его это сделать, то есть, другими словами, лишить его «собственного аллюра» значило бы уложить его в постель и уморить. Благодаря своему способу ходьбы он забрызгивал себя по уши грязью и вообще причинял себе массу неудобств, и ему, несомненно, было бы гораздо легче ходить иначе. Но именно это и являлось причиной, почему Тоби так держался своей походки. Представьте себе, что этот маленький тщедушный старичок являлся настоящим исполином по своим добрым намерениям и более всего боялся, чтобы не стали говорить, что он даром берет свои деньги, крадет их. Ему доставляло огромное удовольствие думать, что он зарабатывает их в поте лица (он был слишком беден, чтобы лишить себя этого удовольствия). Когда ему давали поручение хотя бы за самую ничтожную плату, или когда он нес посылку, его бодрость, всегда, впрочем, ему присущая, удваивалась. Как только он пускался своей рысцою, он начинал окликать всех, идущих перед ним посыльных, уверенный, что непременно наскочит на них и опрокинет. Он также не сомневался, что в состоянии нести всякий груз, хотя ему и не было случая испытывать себя.

Даже в дождливые дни, когда он был вынужден выскакивать из своего угла, чтобы как-нибудь только согреться, и тогда он бегал рысцою, оставляя за собою извилистую линию грязи. Как усердно старался он согреть дыханием свои окоченевшие руки и как потирал их одну о другую. Они плохо были защищены от ледящего мороза серенькими, изношенными шерстяными варежками, в которых только один большой палец пользовался отдельным помещением, а все остальные ютились вместе. Выгнув вперед колени, положив подмышку палку, бежал Тоби, исполняя данное поручение, и точно так же возвращался, когда торопился к башне во время перезвона колоколов.

² Trot – рысь, бежать рысцой.



Несколько раз в день совершал он такую прогулку, так как он считал колокола друзьями и испытывал одинаковое наслаждение, как слушать их звон, так и смотреть на них, представляя себе, чем их приводили в движение и какими молотами били по их звучным бокам. Быть может, его неудержимое влечение к ним объяснялось тем, что между ними и Тоби было много общего. Во всякую погоду продолжали они висеть на своей колокольне, невзирая ни на ветер, ни на дождь, как и Тоби. Как и он, они видели только наружные стены всех домов, не приближаясь никогда, как и он, к яркому свету, видневшемуся через окна, к дыму, вырывававшемуся через трубы пылающих каминов. И они, и он были лишены всякого участия в пользовании вкусными вещами, которые проносились через ворота или решетки кухонь поварам, приготовлявшим из них соблазнительные блюда; одинаково видели они сквозь окна множество движущихся фигур, то с молодыми, красивыми и приятными лицами, то наоборот. Хотя Тоби, часто стоя на улице незанятым, задумывался над всем виденным им, он все-таки не лучше, чем колокола, мог дать себе отчет, откуда люди приходили, куда они шли, или, когда губы их шевелились, относилось ли к нему хоть одно ласковое слово из всех, что ими говорились в течение целого года!

Когда Тоби стал замечать, что привязывается к колоколам, что первоначальное чувство простого любопытства, вызвавшее знакомство с ними, превращается в более прочную и близкую связь, он, не будучи казуистом (что он, впрочем, и признавал), не стал останавливаться на соображениях и причинах, приведших его к этому увлечению, что могу подтвердить и я. Но, тем не менее, я хочу сказать и говорю, что как физические отправления Тоби, как, например, результаты действия пищеварительных органов, достигались сами собою, благодаря их сложной работе, о которой он не имел понятия и был бы крайне удивлен, если бы понял, в чем дело, так и его умственные способности без его ведома и воли приводились в движение целой системой колесиков и пружин и породили его привязанность к колоколам.

Если бы вместо слова «привязанность», я сказал бы «любовь», то я бы не отказался и от этого слова, так как даже оно не было бы достаточным для определения чувства Тоби; настолько оно было сложно. В своей простоте он доходил до того, чтобы придавать колоколам характер чего-то необычайного и торжественного. Постоянно слыша их и никогда не видя, он их себе представлял чем-то загадочным. Они находились так невероятно высоко и так далеко от него, звон их был полон такой мощной, такой глубокой мелодии, что внушал ему какой-то

благоговейный трепет. Иногда, когда он взирал на темные стрельчатые окна башни, он как бы ждал призыва – не колоколов, а существа, голос которого звучал ему в их перезвоне. Все это заставляло Тоби с негодованием отвергать дурную о них молву, что они водятся с нечистым; он считал непозволительным допускать подобные предположения даже в помыслах.

Словом, колокола эти постоянно занимали его слух, наполняли его мысли, всегда вызывая в нем чувство глубокого благоговения. Не раз, разинув рот, он так впивался глазами в колокольню, на которой они висели, что у него делались судороги в шее, и ему приходилось, к обыкновенным прогулкам рысцой, прибавить два-три лишних конца, чтобы отходить свою шею.

Как раз когда в один из очень холодных дней, он был занят этим лечением, прозвучало двенадцать ударов колокола, оставляя за собою гул, напоминавший жужжание исполинской пчелы, залетевшей внутрь колокольни.

– А, время обеда! – произнес Тоби, продолжая рысцой огибать церковь, и глубоко вздохнув.

Нос у него побагровел, веки были красны, он все мигал ими, поднимая плечи чуть не до ушей; ноги мерзли и начинали коченеть. Очевидно, он замерзал.

– Да-да, время обеда, – повторил Тоби, как при боксе, нанося правой рукавицей удары животу, будто наказывая его за то, что ему было так холодно.

– Ай-ай-ай! – продолжал он вздыхать, а затем несколько шагов сделал в полном молчании.

– Это ничего! – вдруг проговорил он, круто оборвав свои рассуждения и, остановившись, с большою заботливостью и некоторым беспокойством стал ощупывать нос от кончика до основания. Пространство, по которому его пальцам приходилось двигаться, было невелико в виду мелких размеров его носа, почему он скоро и покончил с этим делом.

– А я-то думал, что его уже нет! – сказал он, вновь шагая. – К счастью я ошибся! Хотя, конечно, я бы не имел основания на него обижаться, если бы он даже покинул меня; ведь в дурную погоду его служба не из легких, и за свой труд он плохо вознаграждается, так как не нюхает даже табака. Я уж не говорю о том, что в лучшие минуты, когда он чувствует приятное благоухание, то это обыкновенно или запах чужих обедов, или пекарен.

Эти размышления заставили его вернуться к мыслям, которые он прервал своим беспокойством о целостности носа.

– Ничего так аккуратно не повторяется ежедневно, – сказал он, – как наступление обеденного часа, и ничего нет менее верного, как появление самого обеда. Для меня потребовалось много времени, чтобы сделать это открытие. Хотелось бы мне знать, не следовало ли уступить мое открытие какому-нибудь господину для помещения его в газетах и объявления в парламенте?..

Конечно, это была не иначе как шутка, потому что Тоби встряхнул головою, как бы порицая самого себя.

– Господи, – воскликнул он, – газеты ведь переполнены наблюдениями не лучше моего! Ну, а парламент?.. Вот вам газета прошлой недели, – сказал он, вынимая из кармана грязный мятый лист, – полная различных заметок. И каких еще! Я, как и всякий, интересуюсь новостями, – добавил он, медленно складывая газету, чтобы вновь положить ее в карман, – но признаюсь, что теперь я почти с отвращением отношусь к газетам. Мне прямо таки страшно читать их! Я решительно не понимаю, что будет с нами, бедными людьми! Дай бог, чтобы с новым годом нам стало легче жить!

– Папа, где ты там? Папа! – раздался недалеко нежный голос.

Но Тоби не слышал его и продолжал бегать взад и вперед, разговаривая как в бреду, сам с собою.

– Мне кажется, – продолжал он, – что мы уже не способны ни быть хорошими, ни стремиться к добру, ни делать добро. Я слишком мало в юности учился, чтобы суметь понять, являемся ли мы на землю с известными обязанностями и целями или без них. Иногда мне кажется, что да; иногда, что нет, что мы являемся какими-то самозванцами. Я временами до того сбиваюсь с толку, что чувствую себя неспособным связать двух мыслей; выяснить, есть ли в нас что-нибудь доброе, или мы рождаемся все безусловно порочными. Кажется, что мы творим вещи ужасающие и причиняем окружающим массу страданий. Вечно на нас жалуются и всегда все настороже против нас; так или иначе, но все газеты переполнены статьями, касающимися исключительно нас. Разве при таком положении вещей стоит говорить о Новом годе? Я несу свой рок, как и многие другие; лучше даже многих, так как я силен как лев, а таких людей немного найдется. Но если предположить, что Новый год не про нас, если мы действительно только бесправно пришедшие на землю – тогда что?

– Папа, папа! – вновь произнес нежный голос.

На этот раз Тоби услышал его и, вздрогнув, остановился. Взор его, обращенный далеко, в самое сердце Нового года, как бы ищущий ответ на его сомнения, скользнул вокруг и глаза его встретились с глазами его дочери.

Это были лучистые глаза! Глаза, в которые надо было окунуться, чтобы проникнуть в их глубину; черные глаза, которые как зеркало отражали другие, искавшие их. Это не были глаза кокетки или глаза соблазнительницы; нет, то были глаза ясные, спокойные, правдивые, терпеливые, просветленные и одухотворенные искрою божественности; глаза, в которых отражалась чистота и правда; глаза, светящиеся бодростью, энергией, молодой и свежей надеждой, несмотря на двадцать лет трудовой, полной лишения жизни. Глаза эти проникли прямо в душу Тоби, и он как будто услышал слова: «Я думаю, мы хоть немножко нужны на земле, хоть капельку».

Тоби поцеловал губы, столь близкие этим глазам и взял дочь обеими руками за щеки.

– Ну что, моя радость? – сказал он. – Я никак не ожидал тебя сегодня, Мэг.

– Да и я не рассчитывала прийти! – воскликнула молодая девушка, откинув голову и улыбаясь. – А между тем я здесь и не одна, и не одна!

– Ведь ты же не хочешь сказать... – заметил Тоби, осматривая с любопытством закрытую корзинку, которую она держала.

– Понюхай только, дорогой папа, – отвечала Мэг, – понюхай только!

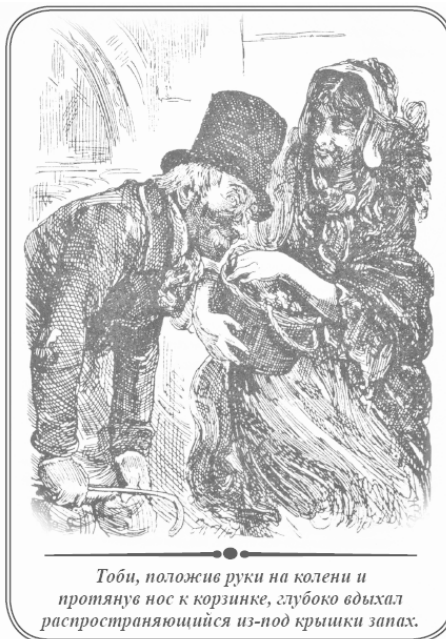
Тоби уже собрался без всяких церемоний открыть корзинку, но она остановила его руку.

– Нет-нет-нет! – повторяла она с детской игривостью. – Пусть удовольствие немножко продлится. Я приподниму уголок, только самый маленький, вот так! – добавила она, понижая голос, будто опасалась, что ее услышит кто внутри корзинки, и приоткрыла крышку. – Теперь отгадывай, что там есть!

Тоби как можно внимательнее стал обнюхивать края корзинки и воскликнул в восхищении:

– Да ведь там что-то теплое!

– Да, – ответила дочь, – не только теплое, но даже горячее! Ай-ай-ай, какое горячее!



– Ага! – зарычал Тоби, подпрыгнув. – Это что-то прямо раскаленное.

– Ха-ха-ха! – смеялась Мэг. – Это действительно что-то раскаленное! Но что же это такое, отец? Ты не можешь отгадать, а ты должен. Я ничего не выну из корзинки, пока ты не отгадаешь. Не торопись же так!.. Подожди, я еще приподниму крышку! Теперь отгадывай!

Мэг совершенно искренне боялась, что он отгадает слишком быстро. Она отступила, протягивая ему корзину, приподняв свои хорошенькие плечики, закрыв рукой ухо, как бы из боязни, что он слишком скоро отгадает, и в то же время она продолжала тихо смеяться.

Тоби, положив руки на колени и протянув нос к корзинке, глубоко вдыхал распространяющийся из-под крышки запах. Казалось, что он вдыхал веселящий газ – до такой степени лицо его просияло.

– Ах, это что-то вкусное! Это не... Нет, я не думаю, чтобы это была кровяная колбаса.

– Нет-нет, ничего похожего! – воскликнула в восторге Мэг.

– Нет, – сказал Тоби, понюхав еще раз – это... Это что-то мягче колбасы, это что-то очень хорошее, и притом оно каждую минуту становится вкуснее! Не ножки ли это?

Мэг была счастлива: он так же был далек от истины теперь, как думая, что это колбаса.

– Не печенка ли? – спросил сам себя Тоби. – Нет... Чувствуется что-то более тонкое, что-то, чего нет в печенке. Не пороссячи ли это ножки? Нет. Те не так сильно пахнут... Петушиные гребешки?... Сосиски?... А, теперь я знаю что! Это угорь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.